

Сергей Тепляков

---

# Бородино

роман



ББК 84(2 Рос-Рус)6-4  
Т-345

*Огромная благодарность за помощь в издании книги  
Валерию Гачману (генеральный директор ЗАО «Грана»),  
Евгению Роговскому (директор Алтайского регионального  
филиала ОАО «РоссельхозБанк»).*

Иллюстрации взяты из открытых источников.

Т-345 С. Тепляков.

«БОРОДИНО». - ОАО «ИПП «Алтай», 2011. - 144 с.

Роман «Бородино» рассказывает о пяти днях (с 22-го по 27-е) августа 1812 года. В числе главных действующих лиц не только предводители войск – Наполеон, Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли – но и люди в малых чинах: Генрих Брандт из Висленского легиона Великой Армии, лейтенант Гарден из французского 57-го линейного полка, русские офицеры братья Муравьевы и еще немалое число других больших и малых персонажей. Некоторые из них появляются перед взглядом читателя однажды и пропадают навсегда, как это нередко бывает в жизни, и особенно часто – на войне...

ББК 84(2 Рос-Рус)6-4

© С. Тепляков.

ISBN 978-5-88449-253-0



## Часть первая

### Глава первая

– Канада, вы слышите, Брандт? – сказал поручик Висленского легиона Гордон своему товарищу.

– Конечно. Как же её не слышать... – отвечал Генрих Брандт, 23-летний молодой человек. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем...

– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.

Гордон и Брандт были товарищами в этом походе, и положение дел в Великой Армии было едва не главной темой их разговоров в течение этого путешествия, начавшегося для Висленского легиона ещё в марте, 22-го числа, когда легион вышел в Париже на императорский смотр. Всю весну Великая армия двигалась к русским границам, проедаая в Европе коридор, как прожорливая гусеница проедает свой путь в листе дерева.

В мае легион пришел в Познань, поблизости от которой было имение родителей Брандта Стржельново. Чтобы повидаться, у Брандта был всего день, да он больше и не выдержал бы: имение от провозглашённой Наполеоном



континентальной системы пришло в упадок, а продвигавшаяся через него Великая Армия разорила несчастных родителей Брандта совершенно. Сначала у них стоял маршал Ней со своим штабом, потом – кронпринц Вюртембергский Вильгельм. Целый батальон устроил бивак прямо во дворе господского дома – солдаты жили, не стесняясь. Когда Брандт приехал, крепкие запахи этого бивака чувствовались по всему саду, по всему дому. Отец Брандта сказал: «Ты, сын мой, знал лучшие дни, а теперь пришёл в дом нищего» – и заплакал. Этого юноша перенести не мог. Тут как раз прибежал кто-то из слуг со словами, что проходящие мимо французские солдаты выгребают с сеновалов последнее сено. Брандт вскочил в седло и понёсся к сеновалам в таком же ослеплении, в каком ещё недавно бросался в атаку на испанских гверильясов. Однако тут была не Испания: командовавший французами офицер извинялся, твердил, что за всё выдаёт квитанции и особенно часто повторял, что от него самого, собственно, немного что зависит. «Поймите, я отвечаю перед императором за сохранение материала»... – сказал офицер Брандту, под «материалом» имея в виду солдат, офицеров и лошадей. Брандт понимал, что и он сам – «материал», и что кто-то ради сохранения в строю его, Брандта, и его солдат, сейчас так же вычищает чьи-то сеновалы, подвалы и погреба. Всё это не вмещалось в голову. Чтобы жить, надо было забывать.



Забывать – Брандту это было не впервой. Он был пруссак по рождению, и в 1806 году, 17-ти лет от роду, записался в прусскую армию, чтобы сражаться с Наполеоном. После Йены и Ауэрштедта, после Прейсиш-Эйлау и Фридланда, армия разгромленной Пруссии была разогнана, а половина Пруссии роздана Наполеоном русским и полякам. Пруссакам в этом мире некого было любить, а ненавидеть надо было бы столь многих, что и от ненависти приходилось отказаться. Брандт запутался, и только это-то – что запутался – и понимал ясно. (Впрочем, запутался не он один: Гегель, такой же как и Брандт, пруссак, в день вступления Наполеона в Йену написал о нём «мировая душа». У Гегеля, впрочем, имелась подходящая теория, согласно которой всемирно-исторические личности, каковой Наполеон очевидно был, являются доверенными лицами всемирного духа – а где уж нам, смертным, против всемирного духа? «Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая

такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует над ним», – писал Гегель накануне того дня, когда его родина получила от «мировой души» едва ли не смертельный удар).

Брандт пытался через знавших его генерала Блюхера и майора Шилля, прославившегося своей партизанской войной против французов в окрестностях крепости Кольберг, записаться в новую прусскую армию, но те ничем не смогли ему помочь. Из той части Пруссии, где Брандт жил, по Тильзитскому миру 1807 года было создано Великое герцогство Варшавское. Так Брандт совершенно неожиданно для себя оказался польским подданным, а распорядившееся его прусско-польской судьбой французское правительство призвало его на военную службу, определив в Висленский легион и на три года отправив на войну в Испанию.

Поляки, которыми командовал Брандт, надеялись, что за службу Наполеону наградой им будет восстановление Польши. Ради этого 30 ноября 1808 года Козетульский летел со своим эскадром по горной дороге на перевале Сомосьерра – на каждом повороте этой дороги испанцы поливали атакующих картечью. Поворотов было четыре: на трёх стояло по две пушки, на последнем, четвёртом – десять. Из двухсот человек, закричавших «Нех жие цезар!» и бросившихся вслед за Козетульским, через десять минут уцелели только сорок – по одному из пяти. Брандт не был в этой атаке – ему рассказывали о ней, как и о других случаях чудесной храбрости и невероятного мужества. (Брандту странно было, что герой этой истории жив – вон он, Козетульский, шеф эскадрона в 1-м полку шевольжёрв-пикинёров Императорской гвардии). Брандт, участвовавший в сотне больших и малых схваток, стычек и боёв, имевший к концу службы в Испании два ордена, две раны и контузию, и сам много чего мог рассказать и рассказывал. (Так мальчишки, набрав в реке красивых камней, хвастаются ими друг перед другом, пока камни, обсохнув, не потеряют свой блеск и вместе с ним – почти всю красоту).

Однако награды всё не было – Польшу Наполеон не восстанавливал. Вместо этого он отделялся от поляков разными побрякушками – вот, например, Висленский легион был причислен к его гвардии. Это было, конечно, лестно, но это была не Польша.

Поначалу Брандт старался не думать, почему он служит



тому, с кем должен бороться. А потом стало и вовсе не до этих мыслей. Лишь иногда доходившие из Европы в Испанию глухие слухи кололи его совесть раскалённой иглой.

Как-то раз Брандт узнал, что майор Шилль весной 1809 года поднял свой гусарский полк на восстание против французов. Брандт узнал об этом много позже – в Испанию такие вести доходили медленно. Он временами спрашивал себя – на что рассчитывал Шилль, отправляясь в свой последний поход? Наверняка надеялся, что и пруссаки поднимутся, как испанцы. Но пруссаки не поднялись, против Шилля выслали войска, он заперся со своими солдатами в Штральзунде и там 31 мая 1809 года погиб в отчаянном бою. Из его солдат и офицеров некоторые спаслись, пробравшись в Пруссию, но 12 офицеров были взяты французами и расстреляны. Брандт иногда думал, что и он ведь, помоги ему тогда Блюхер и Шилль, мог быть среди этих двенадцати, или среди тех, кто погиб на окровавленных мостовых Штральзунда.

Шилль не был похож на героя – пухлощёкий, коротконогий, вспыльчивый. Но он погиб за свободу Пруссии – о такой смерти мечтал и сам Брандт, бросая в 1806 году университет и поступая в армию. Вместо этого он состоит во французской армии, им командует французский генерал, на нём синий французский мундир, и он идет воевать с Россией. Всё запуталось. И только это – что всё запуталось – было ясно.

Поход в Россию отнимал много сил – и в этом было для Брандта благо: некогда было думать над теми вопросами, которые разъедали его душу.

Висленский легион форсировал Неман 26 июня по французскому счёту дат (14-го – по русскому). Рубикон этот не произвел на поляков особого впечатления. Первую неделю похода проливные дожди шли днём и ночью. Земля размокала так, что даже самые закалённые не могли спать на этом ложе из скользкой глины. (По обычаю тех лет, Великая Армия, кроме гвардии, не имела палаток и на ночлег все устраивались вокруг костров – ногами к огню).

Потом наступила тропическая жара. Колонны шли целыми днями без воды. Любая лужа процеживалась, выпивалась, вымакивалась тряпицами. Тысячи ног поднимали такую пыль, что казалось, будто её можно резать ножом. Люди набивали себе рот листьями деревьев, чтобы со-



хранить хоть немного слюны. Обозные лошадёнки, набранные в Польше и Пруссии, началидохнуть. Объявилось огромное число мародёров, совершенно не стеснявшихся своего занятия – из награбленного добра они устраивали свои обозы, шедшие параллельно с Великой Армией, и по ночам располагались в своих лагерях – чтобы не делиться провиантом с теми, кто ещё оставался в рядах.

Молодые солдаты отставали от своих частей и умирали вдоль дорог. Не прошло и двух недель после начала похода, а в Висленском легионе убыль людей была такова, что командовавший им генерал Клапаред пришел в ярость. Только в Минске поляки подкормились и пришли в себя.

В Минске поляки увидели необычный «парад»: один из полков дивизии Компана, набранный в северо-германских землях, на виду у всей армии «парадировал» с поднятыми кверху прикладами ружьями. Так маршал Даву хотел наказать полк, почти совершенно разбежавшийся за две с небольшим недели похода. Наказание вряд ли вразумило сам полк и уж точно не добавило оптимизма тем, кто за этим наказанием наблюдал. Барон Юзеф Хлузович, полковой командир Брандта, сказал тогда ему: «Вот увидите, что император впадёт в ошибку Карла XII: он оставляет в тылу своёму неустроенную Польшу, разорённую Литву, и с нами будет то же, что было со шведами»...

Призрак шведского короля являлся в те месяцы обеим сторонам (генерал Балашов, выехав к Наполеону для прояснения его намерений ещё в самом начале войны, на вопрос императора о лучшей дороге на Москву будто бы дерзко ответил: «Карл XII шёл через Полтаву»). В Висленском же легионе служили многие из тех, чьи предки столет назад шли в Россию со шведским королём.

Впрочем, чем ближе к Москве, тем чаще неприятные для поляков воспоминания сменялись славными историями из их прошлого. Сначала это был Смоленск, который поляки уже брали за двести лет до этого, в Смутное время. Товарищи Брандта считали, что если Великая Армия возьмёт Смоленск, то не устоит и Москва. А подходя 31 августа к Царёво-Займищу, поляки вспоминали, как 4 июля 1610 года на этом месте гетманом Жолковским были разбиты русско-шведские войска, после чего поляки осадили и взяли Москву, где провозгласили королевича Владислава царём московским.



Однако надежды на то, что русские под Царёво-Займищем дадут неприятелю бой, не сбылись – русские отступили вновь. Но потом в Великой Армии стало известно, что у русских сменился главнокомандующий. Французы хоть и прозвали Кутузова тут же «беглец Аустерлица», но по всему чувствовали, что этот беглец покажет себя. О близости битвы говорило многое: Наполеон собрал армию, подтянув отсталые полки. Войска пополнились патронами, запаслись продовольствием, генералы посчитали живых. Всё шло к тому, что быть битве, большой битве – иной не может быть, если каждая из сторон имеет армию числом по сто с лишним тысяч человек.

5 сентября (24 августа по русскому счёту) поляки вышли в поход от деревни Гриднево вместе с корпусами Даву и Нея. Едва начался марш, как впереди послышался гул.

Вот тут-то поручик Гордон и сказал:

– Канонада, вы слышите, Брандт?

– Конечно. Как же её не слышать...– отвечал Генрих Брандт. – Может русские всё же отважатся на сражение? Если они отступят ещё немного, наша армия развалится совсем...

– Так может в этом и есть их интерес? – усмехнувшись, сказал Гордон.

– У русских теперь новый командир – Кутузов, – сказал Брандт. – Может, это нас и спасёт: он даст нам сражение, мы его разобьём, и Наполеон с Александром наконец помирятся снова...

(О том, что у русской армии новый предводитель, стало известно совсем недавно, 20 августа, когда французам в Гжатске попались в плен два платовских казака, один из которых был атаманским поваром, а кроме того – негром!).

– Может, он захочет отомстить нам за 1805 год? А может и нет... – сказал Гордон. – Он ведь может сдать нам Москву, как австрийцы сдавали императору Вену, и как вы, пруссаки, уж извините, Брандт, сдавали Берлин – ни тем, ни другим это не мешало после сражаться...

Их лошади шли шагом. Вокруг двумя громадными колоннами двигалась Великая Армия: бесчисленное количество людей, лошадей, повозок, пушек. Корпуса Даву и Нея упирались друг в друга. Временами с высот были видны громадные массы войск впереди. Кроме пушечного грома,



уже слышалась иногда и ружейная стрельба. Солдаты приободрились, оживились, их переполняла та нервная энергия, которая вызывается близостью опасности и смерти.

Поляки миновали лес. Они приближались к Колоцкому монастырю, где шёл бой, однако когда поляки пришли туда, бой уже кончился и русский арьергард отступил к деревне Валуево. Брандт видел, что вправо идет корпус Понятовского. Съехав с холма в долину, Брандт и Гордон вдруг увидели Наполеона. До этого Брандт уже видел в походе императора: первый раз под Вильной, под дождём, который стекал у Наполеона со шляпы и с его знаменитого серого сюртука, потом под Смоленском, где при Наполеоне, подъехавшем к Мстиславльскому форштадту, было лишь двое адъютантов (правда, позади ехали конные егеря гвардии). Наполеон поговорил с генералами, посмотрел на Смоленск в подзорную трубу и уехал. Нынче же при каждой остановке польские уланы и гвардейские егеря окружали Наполеона, словно прикрывая собой.

Брандт и Гордон въехали на пригорок и увидели вдалеке то, что рассматривал в трубу Наполеон: вправо от дороги, не так уж и далеко от Валуева, была укрепленная русскими высота, позади которой виднелись линии войск. Войска, проходившие пригорок, на котором остановились Гордон и Брандт, тоже увидели русские линии. Раздались крики: «Да здравствует император!».

– Это русские! Они ждут нас! Наконец-то будет битва! – кричал какой-то офицер, ехавший сбоку от колонны пехоты. Пехотинцы в ответ радостно взревели снова: «Да здравствует император!».



## Глава вторая

Первыми, ещё 22 августа (3 сентября по европейскому исчислению дат), на поле, которое с тех пор вот уже 200 лет называют Бородинским, приехали квартирмейстеры. Потом, ранним утром 22-го, сюда, опередив армию, прибыли Главный штаб и Кутузов.

Это была уже четвёртая позиция, которую он осматривал за пять дней, прошедшие со дня прибытия его к армии.

Кутузов понимал, что пора на что-то решаться. Его ведь и назначили главнокомандующим всеми российскими войсками только потому, что отступление как стратегический приём уже не понимали и не принимали ни штатские, ни военные.

Кутузову было далеко за шестьдесят (историки не сходятся в определении года его рождения – по одним бумагам 1745-й, по другим – 1747-й). В первый раз на войну он попал ещё в 1764 году – целая жизнь отделяла его от тех первых стычек с поляками. Голову его дважды простреливала турецкая пуля, проходя почти в одном и том же месте – от виска до виска за лобной костью. Удивительным образом он остался жив и даже правым глазом, который многие и современники, а тем более потомки полагали незрячим, видел. Но никому про это не говорил.

Привычка многое, если не всё, держать в себе, осталась в Кутузове после того, как ещё в армии Румянцева, молодым, ещё до своего тяжкого ранения, он имел неосторожность передразнить главнокомандующего, показав его походку и некоторые ухватки. Хоть шутка это была показана в тесном приятельском кругу штабных офицеров, но Румянцев как-то узнал о ней и осерчал – да может ещё и рассказали так, что не осерчать было невозможно. Шутка едва не стоила Кутузову жизни: из румянцевской армии его перевели в армию князя Долгорукого, где и подкараулила его турецкая пуля в правый висок.

Через десять с небольшим лет, под Очаковым, пуля ударила снова в то же место и прошла почти тем же путём. Сослуживцы решили, что второй раз чуда не будет, но сам Кутузов помнил, что когда временами голова прояснялась, он отчётливо знал, что чудо произойдёт и сейчас – выживет он. Когда Кутузов пошёл на поправку, один из врачей, рассказывали ему, сказал, что, видать, судьба бережёт его для великих дел. И нередко потом Кутузов примеривал свои походы к этим словам – это что ли великое дело, ради которого дважды Господь отвёл от него смерть? Но даже при взятии Измаила, когда Кутузов едва ли не единственный из всех начальников колонн уцелел, были у него сомнения в том, что именно для этого оставлена ему жизнь. С турками Россия воевала едва ли не каждые два-три года и била их всегда. Кутузов понимал, что взяли бы Измаил и без него.

В 1805 году казалось – вот оно. Когда Наполеон заманил

Макка в ловушку, взял его армию в плен и армия Кутузова осталась одна против французов, Кутузов решил, что как раз для спасения русской армии и русской чести оставлен он на земле. Чудом выскользнув из многочисленных французских капканов, задерживая французов обречёнными на гибель арьергардами, Кутузов прошёл с армией больше 400 вёрст, и ушёл-таки, спасся. Он и вовсе предлагал отойти к границам России, подкрепиться войсками, и начать всё заново, но приехавшие к войскам императоры Александр и Франц решили, что удача на их стороне. Они оба были ослеплены: Франц – жаждой мести, желанием вернуться в свою столицу, занятую французами, на белом коне, Александр, которому тогда не было и тридцати, молодостью и той великой ролью, которая, как он думал, ему выпадает.

Царь с детства любил войну. Когда-то императрица Екатерина написала об Александре в письме: «На днях он узнал об Александре Великом. Он попросил лично с ним познакомиться и совсем огорчился, узнав, что его уже нет в живых. Он очень о нём сожалеет». Царь и глуховат был потому, что в юности на маневрах в Гатчине всегда становился поближе к пушкам. Но если Константин Павлович был с Суворовым в Швейцарском походе, то для Александра кампания 1805 года была первой. Он упивался ею. Составлявшие близкий круг молодые советники царя также были в восторге от войны.

К тому же, по извечной русской (да и не только русской) привычке, отчёты об арьергардных боях были один другого лучше. В результате царь и его окружение полагали, что дела идут превосходно. Все они уже видели себя низвергателями титана. Наполеон откуда-то прознал об этих настроениях в русской Главной квартире, и для пущего их поддержания отослал к царю своего адъютанта Савари с письмом: «Я поручаю моему адъютанту выразить Вам всё моё уважение и сообщить Вам, насколько я хотел бы снять Вашу дружбу. Примите же это послание с добротой, которая Вас отличает, и помните, что я всегда являюсь тем, кто несказанно желает быть приятным Вам».

В своём ответе Александр решил поставить «высочку» на место, и ответное письмо адресовал «главе французского правительства», а не императору Наполеону, а князь Долгорукий, один из молодых друзей царя, приехав затем к Наполеону, полагал, что должен продиктовать ему

условия капитуляции. И продиктовал. Да такие, что Наполеон потом сказал своим генералам: «Эти люди считают, что нас осталось только слопать». Однако ему надо было выиграть время, чтобы подтянуть войска, и он продолжил ломать комедию.

Заикнись Кутузов царю перед Аустерлицем о необходимости отказаться от битвы – поверил бы Александр Кутузову? К тому же, Кутузов был слишком царедворец: ещё в екатерининские времена он вставал чуть свет и спешил в дом к Платону Зубову, фавориту императрицы, где готовил кофе и лично подавал его в кофейнике Платону в постель. Кадеты корпуса, где Кутузов был директором, кричали вслед его коляске: «Хвост Зубова! Подлец!». Кутузов делал вид, что не слышит: молодые ещё, подрастут – поймут, *будут и у них свои кофейники...*

Кутузов был по натуре раб, сторожевой пёс, который загрызёт волка, но позволяет хозяину бить себя палкой. Но ведь и все остальные были рабы. Смысл жизни был в том, чтобы, оттерев других, протиснуться ближе к хозяину и подставить голову – авось погладит... Кутузову жаловаться было грех: Екатерина его отличала, да и при Павле он в опалу не попал. Странной шуткой судьбы Кутузов был одним из двенадцати человек, присутствовавших на том самом ужине у императора вечером 11 марта, во время которого Павел сказал чихнувшему цесаревичу Александру: «За исполнение всех ваших желаний!», а в конце посмотрел на себя в зеркало и сказал, обратившись почему-то именно к Кутузову: «Посмотрите, как смешно – я вижу себя с шеей на сторону!». И добавил ему же уходя: «На тот свет иттить – не котомки шить». Когда наутро Кутузов узнал о страшной смерти императора, волосы зашевелились у него на голове...

При Аустерлице Кутузов решил: будь что будет. Была ещё к тому же надежда на то, что союзное войско велико – сто тысяч сразу не перебьёшь, а если упрутся, то ещё неизвестно, чья возьмёт. Но после прорыва центра позиции армия бежала. Кутузов снова был ранен в голову, только на этот раз пуля попала в щёку, вершок с небольшим не дотянув до виска. Кутузов понял, что это было такое напоминание: не сейчас, подожди...

И вот нынче без сомнения время пришло. Не в девяносто же лет Господь будет его испытывать, думал Кутузов, холодным утром 22 августа объезжая поле в крытых дрож-

ках (верхом на лошади по причине тучности и больших ног Кутузов ездил редко и недолго). Да и когда снова родится такой противник как Наполеон?

Коляска остановилась. Кавалькада штабных подъехала, офицеры спешили, к Кутузову подошел Карл Толь, эстляндец 35 лет с лицом и глазами заводного болванчика, штабной из армии Барклая, полковник по чину, но один из главных людей в армии по положению, при Кутузове совершенно оттеснивший от дел генерал-квартирмейстера Вистицкого, высокого худощавого старика, который теперь демонстративно держался в стороне. (Симпатия и вера Кутузова в Толя основывалась на том, что ещё в кадетском корпусе Толь был у него лучшим учеником и разных глупостей вслед своему директору не кричал).

– Правый наш фланг хорошо прикрыт рекой, центр – оврагами, а наш левый фланг мы упрём в высоту... – пояснял Толь Кутузову. – Это лучшее место, другого такого уж да самой Москвы не найти.

Кутузов поднял голову и медленно окинул взглядом огромное поле, ещё пустое от войск.

Генералы выжидательно смотрели на Кутузова. 18 августа была оставлена позиция при Царёвом-Займище по той причине, что будто бы она слишком велика для армии. В штабе же говорили, что причина лишь в том, что позицию эту выбирал генерал Леонтий Беннигсен, которого Кутузов показательно почему-то не жаловал. (Ганноверец Беннигсен был одним из убийц Павла Первого, а по рассказам выходило, что если бы не Беннигсен, то и убийства бы не было – разбежались бы заговорщики ещё на подходах к Михайловскому замку. Всех заговорщиков новый царь разогнал по разным тьмутараканям, а вот Беннигсена оставил – воевать ганноверец умел как никто, и даже в 1807 году под Прейсиш-Эйлау сумел устоять против самого Наполеона. При этом, ни на цареубийцу, ни на старого вояку генерал не был похож – на продолговатом лице помещался вислый нос и круглые коровьи глаза. Но Кутузов всё никак не мог забыть, что это – цареубийца, и от взгляда на это лицо с добрыми коровьими глазами Кутузова всегда бросало в дрожь).

На самом деле от Царёва-Займища армия ушла лишь потому, что Кутузов не хотел битвы. Получив 16 августа от Барклая письмо об избрании этой позиции и намерении

дать здесь генеральную битву, Кутузов даже обрадовался: тут же написал, что по причине плохой погоды сможет приехать только 17-го, а то и вовсе 18-го, но пояснил, что «сие моё замедление ни в чём не препятствует вашему превосходительству производить в действие предпринятый вами план до прибытия моего».

Однако и Барклай был давно не мальчик и всё отлично понимал: проиграет он битву – будет виноват он, а выиграет – победит Кутузов. Барклай дождался Кутузова, который, приехав, приказал отходить. Свои резоны у него были: в Гжатск и Можайск должны были придти пополнения. Так и вышло: сначала в Гжатске к армии присоединились 14 тысяч рекрутов Милорадовича, потом из Можайска пришли 10 тысяч Московской военной силы (ополчения). Больше рассчитывать было не на что. Хочешь-не хочешь, а надо было принимать бой.

Нынешнюю позицию выбирал Карл Толь, и чем она была лучше прежних, видимо, только Толю и было ведомо.

– Упаси нас Бог от таких лучших мест! – с силой проговорил стоявший тут же Багратион, главнокомандующий Второй армией. – Левый фланг находится в величайшей опасности. Если принять, что он опирается на высоту у деревни Шевардино, то весь левый фланг подвержен будет опасности обхода, и даже в тыл наш французы выйдут, если захотят!

Багратиону не приходилось стесняться в выражениях – в 1805 году он был у Кутузова в арьергарде, чудом спасал армию и сам чудом оставался жив, то храбростью, то обманом удерживая французов. Да ещё и тень Суворова маячила за ним – в Итальянском и Швейцарском походе добыл Багратион свою первую славу. Она же доставила ему необычную награду: Павел Первый, узнав, что попавший тогда в большую моду Багратион тайно влюблен в юную фрейлину императрицы графиню Екатерину Скавронскую (чёрные горбоносые грузины во все времена влюблялись в фарфоровых кукол с громадными голубыми глазами), после маневров в Гатчине вдруг объявил о венчании Скавронской и Багратиона. Багратион был рад сюрпризу императора, а вот 17-летняя графиня – нет: вскоре после венчания она уехала в Европу и с тех пор не показывалась более в России. Багратион, надеясь на что-то, тщательно



сохранял видимость приличий, и когда его жену обошли орденом святой Екатерины, пожалованным всем супругам участвовавших в кампании 1805 года генералов, обиделся. Александр пожаловал орден и ей.

Героя-генерала уже 25 лет не брали ни пули, ни картечь, ни штык, зато Екатерина Багратион раз за разом ранила Багратиона в самое сердце. В 1810 году вдруг стало известно, что она родила дочь. Судачили, что это – плод любви княгини и австрийского министра иностранных дел Клеменса Меттерниха. Багратион не знал, как после этого появляться в свете, да ещё как назло с турецкой войны он уехал, а другой войны для него у России тогда не было. Хотя дочь называли без особой конспирации Клементиною, но по настоянию царя записали в роду Багратионов. Почему Багратион согласился на это? Может, и он был только рабом, а может, это была просто любовь, всепрощение. Перед самой войной князь заказал художнику два портрета – свой и Екатерины, – но увидеть их уже не успел...

В нынешнюю кампанию Багратион чудом спасся от окружения и разгрома, и уже то, что он пришёл в Смоленск на соединение с 1-й армией Баркляя было счастье. В Смоленске предполагалось контрнаступление, и оно даже началось, но Барклай всё время опасался хитростей своего великого противника, не замечая, что Наполеон уже далеко не тот, что прежде (18 дней он провел в Вильно, а потом две недели – в Витебске, упуская шансы разбить Багратиона и Баркляя по-отдельности), или не смея верить этому. В конце концов, Барклай приказал оставить Смоленск. Багратион считал, что этим упущен большой шанс, но Барклай как военный министр был по должности выше – приходилось подчиняться. Теперь пришёл Кутузов. Преклонение Багратиона перед Кутузовым почти полностью выдуманно позднейшими историками. На самом деле назначение это уязвило Багратиона – он и себя считал достойным этого поста, а Кутузова после Аустерлица ценил невысоко (в 1811 году писал Баркляю о Кутузове: «Его превосходительство имеет особый талант драться неудачно и войска хорошие ставить на оборонительном положении, по сему самому вселяет в них и робость»).

Багратион знал в общем-то, что советовать Кутузову невозможно, и чужие мнения для него не значат ничего, и понимал, что на самом деле лучше было бы ему, Багратио-

ну, молчать, но не мог – трёхмесячное отступление крайне измотало его и физически, но больше того – душевно. Ему хотелось битвы, как другим хочется отдыха. Ему казалось, что битва всё разъяснит.

Кутузов помолчал, посмотрел в разные стороны, поворачиваясь всем телом.

– Не слишком-то она и хороша, позиция твоя, Карл Фёдорович... – наконец сказал он. – Князь Пётр Иванович прав: левый фланг выдвинут под удар, да и тыл открыт – а ведь не с турками воевать...

Толь переглянулся с кем-то из офицеров. Свитские сделали каменные лица. Кутузов понял: все ждут, что он начнет распекать Толя. Но он не собирался делать это вообще, а тем более на людях. Если надо дать сражение, то не всё ли равно, где? Тем более, были у позиции и плюсы: обрывистые берега реки Колочи, труднопреодолимые и для пехоты, овраги, которые должны были помешать движению конницы. Поле боя должно создавать неприятелю как можно больше проблем – и если грамотно распорядиться, то на этом поле французов ждало множество сложностей.

– То хорошо, что наш правый фланг прикроет река. Левый можно усилить фортификациями... Пусть твои офицеры быстрее составят кроки... – сказал Кутузов Толю. – Там и поглядим... Да выбери места для шанцев и мне представь.

После этого он влез в сильно кренящуюся под ним коляску и уехал. Толь остался посреди своей свиты, состоящей из квартирмейстерских офицеров разного возраста.

В 10 часов утра на поле пришла армия и заняла его от края до края. Корпуса встали на поле в той же последовательности, как шли на марше. (Так невольно каждый вытащил из лотерейного барабана свою судьбу – шла бы армия Багратиона в голове колонны, и тогда ей достался бы правый фланг бородинской позиции, а флешы может быть именовались бы Барклаевы). Войска обустроивались на поле. В особое радостное изумление всех привела река – стоянки у воды были крайне редки, и теперь солдаты бросились к Колоче с разными своими нуждами, плотно облепив её берега. (Солдаты лейб-егерского полка, занявшие Бородино, решили воспользоваться невиданной за весь поход стоянкой в деревне и устроить баню. Потом эта баня будет стоить жизни половине из них).

## Глава третья

Среди многих тысяч людей был на этом поле человек, для которого всё оно, с его оврагами, ручьями, реками и лесами, было родной дом – Денис Давыдов. Село Бородино было именем его семьи, на этих полях он вырос, а на том кургане, где потом была устроена батарея Раевского, читал газеты с описанием суворовских походов по Италии и Швейцарии.

– Вот видите – речка. Называется она Колоча, старики говорили, будто от слова «колотить»... – урок бородинской географии Денис Давыдов устроил для своего товарища, штабс-ротмистра Ахтырского гусарского полка Бедряга. – В Колочу впадают ручьи Огник, Стонец и речка Война. Мальчишкой я думал – что же было на этом поле, если у этих речек и ручьёв такие имена? Думалось мне, что когда-то давно сходились здесь в схватках богатыри. Всё мечтал найти где-нибудь в траве древний меч...

Давыдов умолк. Он смотрел на поле и не узнавал его: неужто и правда именно здесь бегал он со своими собаками, пытаясь быстрее них догнать зайца?

– Так может мы и остановимся в вашем доме, Денис Васильевич? – спросил Бедряга.

– Где уж – там уже всё занято генералами! – ответил с усмешкой Давыдов. – Сарай заняты штабными, нам, простым гусарским офицерам, остается ночевать на земле.

– А что же с вашей затеей идти в тылы французские с партией гусар и казаков? – осторожно спросил Бедряга. Он знал, что для Давыдова это большой вопрос – на днях Давыдов отправил князю Багратиону, у которого прежде состоял пять лет адъютантом, об этом письмо. Однако Давыдов, неожиданно для Бедряга, улыбнулся.

– Да вот вчера князь вызывал меня к себе, выслушал, и обещал пойти с моей идеей к светлейшему! Вчера же и хотел пойти, да Кутузов был весь день занят, так что сегодня у них должен быть обо мне разговор. А если даст Кутузов добро, пойдёшь со мной, Бедряга?!

Бедряга вспыхнул:

– Да я за вами, Денис Васильевич, в огонь и в воду!

Давыдов был его кумир, да и для многих – кумир: в свои 28 лет он был уже подполковник, а жизнь его уже в эти годы была то легенда, а то байка. При начале карьеры

Давыдов попал в кавалергарды, но за едкие стихи о первых лицах государства переведён в армейский гусарский полк, что, впрочем, скоро понравилось ему уже хотя бы от того, что гусарам, чуть не единственным в русской армии, разрешались усы (из-за усов уже много после войны была у Давыдова история – его переводили служить в конноегерскую бригаду, при этом он не только терял чин, но и усы должен был брить – егерям они не полагались. Давыдов в отчаянии написал царю рапорт о том, что не может командовать егерями из-за усов. Александру это письмо попало в хорошую минуту – Давыдову был возвращён чин и его назначили командовать вместо егерей гусарами).

Может, стихи и спасли его – кавалергарды в 1805 году ушли в поход, и при Аустерлице погибли почти все. Но Давыдов считал, что судьба, спасши его, нанесла ему оскорбление, и потому решил пробиться на войну любым способом. В кампанию 1806 года он, чтобы потребовать назначения в передовые войска, ночью пробрался в спальню к русскому главнокомандующему фельдмаршалу Каменскому, которому было тогда почти семьдесят лет. Каменский и так был плох, а явление Давыдова просто добило его: через несколько дней фельдмаршал, крича что-то вроде «Спасайтесь кто может!», бросил армию. Каменский был при этом в заячьем тулупчике и бабьем платке. В 1807 году Давыдов, состоя адъютантом при Багратионе, отличился при Прейсиш-Эйлау, а потом, в Тильзите, куда его послал вместо себя Багратион, столкнулся нос к носу с Наполеоном. Давыдов любил рассказывать о том, как Наполеон уставился на него и как он не только выдержал взгляд императора французов, но и вынудил его отвести глаза.

Идея рейдов по французским тылам появилась у Давыдова едва ли не с начала похода – кто-то сказал тогда, что у Наполеона с собой только на 20 дней провианту. «А что же он будет делать потом? – подумал, услышав это, Давыдов. – Если отбирать у него обозы и резать фуражиров, так его армия от голода помрёт». К тому же, отступление тягостно, как на всех, действовало на него. Давыдову казалось, что пользы от него на этой войне – ни на грош, а Давыдов привык, что на каждом театре войны есть для него хоть маленькая, но не из последних, роль.

Ещё в июле Барклай-де-Толли создал «летучий отряд» барона Винцингероде, и приказал атаману Платову при-

зывать крестьян на борьбу с неприятелем. Однако крестьяне не больно-то поднимались – боялись, как бы после замирения Александра с Наполеоном не взыскали с них за излишнее усердие. Винцингероде, получив немалые силы, чувствовал себя почти армией, а в августе был направлен прикрывать дорогу на Петербург, на которой и стоял. Давыдов считал, что «партизанить» надо не так: не дожидаться, пока неприятель придёт к тебе сам, а идти навстречу ему. Ловить, мешать, делать жизнь неприятеля на чужой земле невыносимой – вот предназначение партизана. (Отдельным удовольствием для Давыдова было то, что в этом случае он был сам себе царь, Бог и воинский начальник).

Разговор с Багратионом накануне получился не совсем такой, как хотелось Давыдову, но это, думал он теперь, видимо, было и хорошо. Начав говорить, Давыдов вдруг сорвался и речь его стала горячее, чем нужно было, горячее даже, чем он сам от себя, при всей привычке к себе, ожидал: наговорил про то, что Барклай отступал, но и Кутузов отступает, что, если так дело пойдёт и дальше, то Москва будет взята, в ней императоры подпишут мир, и русские пойдут в Индию сражаться за французов! Вот эта Индия особенно мучила всех в русской армии – в 1801 году казаки ведь уже и тронулись туда в поход – только смерть императора Павла спасла их тогда (Александр велел казакам возвращаться).

– Если суждено погибнуть, то лучше я лягу здесь! – овладев, наконец, собой, твёрдо сказал Давыдов. Он глянул на Багратиона – лицо того пылало, глаза горели. Багратион взяв Давыдова за руку и сказал:

– Нынче же пойду к Кутузову и изложу ему твои мысли...

«Поговорит ли сегодня?» – с тревогой думал Давыдов. Он понимал, что со дня на день будет большая битва. Сегодня ему ещё могли дать приличных размеров отряд, а после битвы каждая сабля будет на счету. «Да ещё буду ли сам жив?» – подумал Давыдов. Идея партизанства казалась ему простой и гениальной. Только тревожить неприятеля должен был не один отряд Винцингероде, а сотни, тысячи. «Тогда и крестьяне поднимутся... – думал Давыдов. – Сейчас-то в каждой деревне боятся: убьют они француза, а другие французы сожгут село. А если французов будут бить везде, так не угонятся сжигать».

Он закутался в бурку, закурил трубку и задумался, не

видящими глазами уставившись на поле. Бедряга, не решаясь потревожить, сидел на коне рядом...

... Только вечером 22 августа решилась судьба Давыдова, а может – и всей войны, Европы, Наполеона: Багратион вызвал Давыдова к себе и сообщил, что Кутузов согласен послать французам в тыл одну партию «для пробы», но сил даёт мало – всего пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков.

– Он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело... – сказал Багратион.

«А кто же ещё?!» – удивлённо подумал Давыдов и ответил:

– Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие, а потом уступить исполнение его другому. Вы сами знаете, что я готов на всё, была бы только польза. Но для пользы – людей мало...

– Он больше не даёт.. – развел руками Багратион.

– Если так, то я иду с этим числом! – воскликнул Давыдов. – Авось открою путь большим отрядам.

– Я бы тебе дал сразу три тысячи, ибо не люблю ошупью дела делать, но об этом нечего и говорить... – Багратион пожал плечами. – Кутузов сам назначил силу партии, надо повиноваться.

– Повинуюсь, – усмехнувшись, ответил Давыдов.

(Из-за канцелярских проволочек его отряд не смог выйти 23 августа, а 24-го был бой за Шевардино, и Давыдов остался сам: «как оставить пир, пока стучат стаканами?»

– писал он потом. От армии партия Давыдова отправилась лишь 25 августа).



## Глава четвертая

– **О**становимся здесь! – сказал Николай Муравьёв, натягивая поводья перед каким-то сараем. Деревня, в которую въехали офицеры генерального штаба, была Татарки (называвшаяся также Татариково и Татариново). Десяток избёнок частью был уже занят, частью – безжалостно разобран войсками на разные нужды. Сарай по меркам похода был удачей. Офицеры забрались в него через небольшую дыру невысоко от пола. Шибало в нос разными запахами, но Муравьёв и его товарищи за время похода и не к такому привыкли.

Все населившие сарай офицеры были грязны и чумазы, но давно перестали замечать это. Прожжённые при частых ночёвках у костра шинели снимали редко. Сапоги давно пропитались водой и были сырыми даже в сухие дни (да ведь и выступать в поход приходилось рано, по росе). Николай Муравьёв подумал, не снять ли сапоги – ноги, покрытые язвами, зудели нестерпимо, – но представил, как мучительно будет стягивать сапоги, а потом ведь неминуемо придётся их надевать, и решил перемочься так.

Он с тревогой посмотрел на своего брата Михаила. Тому было 16 лет. Ещё при подходе армии к Смоленску он начал кашлять, слабел, то и дело покрывался потом, по ночам его била лихорадка и даже в самые жаркие дни ему было холодно. При этом, он ездил с поручениями и ни разу не сказался больным.

– Миша, давай-ка я тебе сделаю чаю... – сказал Николай, стараясь улыбаться так, будто у Михаила лицо не покрыто холодным потом, не мутны глаза и не высохли губы. Михаил понимал улыбку брата, улыбнулся ему в ответ и ничего не ответил – не было сил. Николай Муравьёв стал шарить в своем чемодане в поисках заварки. В уголках глаз у него было горячо от слёз.

Они уже и забыли наверняка, как мечтали о бивачной жизни, выезжая в феврале 1812 года из Петербурга к армии. Тогда эта жизнь казалась им наполненной невыразимой прелестью и мужеством. Вместо прелести появились вши да болезни, большие и малые. Не было денег и весь поход Муравьёвы жили едва ли не голодом. Язвы на ногах Николая Муравьёва, как пояснил ему доктор, были следствием цинги.

По обычаю тех лет Муравьёвы числились под номерами: Михаил – Муравьёв 3-й, Николай – Муравьёв 2-й, а был ещё Муравьёв 1-й, старший брат, 20-летний Александр, которого в Царёво-Займище прикомандировали к командовавшему арьергардом генералу Коновницыну.

– Жаль, господа, что в этом сарае не спряталась какая-нибудь курица... – сказал Георгий Мейндорф, ещё весной, при первом знакомстве, прозванный остальными Чёрным за постоянно хмурый угрюмый вид. Потом оказалось, что это маска, носить которую у Мейндорфа скоро не осталось ни охоты, ни сил. Маска слетела, но прозвище осталось. – Да и вообще деревушка такова, что в ней вряд ли где имеются съестные припасы.

– Надо прибиться к фуражирам, может что и добудем...  
– проговорил 21-летний квартирмейстер Александр Щербинин, общий друг Муравьёвых.

– Кто же пойдёт? – спросил Мейндорф.

– Видно, это буду я, – ответил Щербинин. – Муравьёвы едва живы, а вы, Георгий, добывали провиант вчера.

Щербинин ещё немного полежал, явно решаясь на нелёгкий для него поступок, потом быстро встал, выбрался наружу, завернулся в шинель и пошёл к лошадям.

Тут Николай Муравьёв всё же нашёл мешочек с жалким количеством чая.

– Сейчас, Миша, будет тебе теплее. Попируем, как в Сырце, помнишь?

Сырце было имение Муравьёвых, куда они заехали по пути к армии ещё зимой. Слуги, последний раз видевшие своих молодых барчуков ещё когда те были совсем детьми, сбежались посмотреть на них, повзрослевших, приводили своих детей. Был сготовлен славный обед, воспоминания о котором в походе иногда грели, иногда мучили. Братья держали себя по-взрослому, как того требовал мундир, вели со стариками разные степенные разговоры, о чём потом вспоминали со смехом и некоторым стыдом. Они взяли себе в доме кто что: Александр отыскал где-то старую саблю, Николай – лядунку, а все вместе набрали зачем-то чайников и стаканов. Николай вспомнил, как деревенский старшина Спиридон Морозов принёс им список вещей и попросил «для порядку» отметить в нём, что взято, и как при этом они снова почувствовали себя мальчишками, которым вот-вот влетит от отца... Один из тех чайников сейчас и стоял на огне, который Николай подкармливал, рубя саблей в небольшие поленья найденную в сарае доску. Костёр он развел прямо здесь, под крышей – хоть и дымно, а всё же и тепло.

Когда чай вскипел, Муравьёв заварил его в одной кружке – при этой системе щепотка чая осталась и назавтра. В конце концов, главным в этом чае был не вкус, а температура. Михаил поднялся и пил чай, держа кружку обоими руками – так было теплее. Николай замечал, что чай, похоже, не греет брата. Лучшим лекарством была бы передышка на несколько дней и хоть какая-нибудь еда – но как раз этого никто не мог обещать.

Допив пустой чай, Михаил улыбнулся и сказал:

– Однако я посплю. Но если Щербинин придёт не с пустыми руками, непременно будите!

Николай улыбнулся ему в ответ. А когда Михаил вернулся в шинель и лёг лицом к деревянной стене, Николай выбрался из сарая наружу, дошёл до своей лошади по кличке Казак и зарылся в её гриву, чтобы тем, кто ходит вокруг, не было видно его слёз...

## Глава пятая

Начертить план (снять кроки) поля поручено было квартирмейстерскому поручику Егору Траскину. Весь день 22-го августа он провёл на поле, постепенно объезжая его и срисовывая часть за частью на листы бумаги, чтобы вечером вычертить единый план на одном листе. От края до края всё пространство составило восемь с половиной вёрст (около девяти километров). Траскин, как и его товарищи по Генеральному штабу, гревшиеся сейчас чаем в татариковском сарае, был усталый молодой человек, крайне измученный тяготами похода. К тому же поле это было уже далеко не первым, на котором предполагалось дать битву и которое срисовывал Траскин, и на лице Кутузова утром он не увидел особой решимости дать битву именно здесь. Работа представлялась Траскину бесполезной. К Утице он устал настолько, что рисовал уже кое-как, лишь бы быстрее отделаться, поэтому Утицкий лес получился у Траскина больше чем был.

23 августа Барклай, не дожидаясь, пока Кутузов напишет диспозицию, начал укреплять те места, на которых разместилась его армия: ставили батареи вдоль реки Колочи, у Горок, готовили к бою село Бородино. Особо же усиливали крайний правый фланг. Хоть он и без того был прикрыт излучиной рек Колоча и Москва, но здесь приступили к возведению трёх люнетов, связанных куртинами – это была земляная крепостца. Барклай ждал сюрпризов от Наполеона, а обход по флангу, который кажется противнику прикрытым самой природой до полной неприступности – очень хороший сюрприз.

Багратион же бездействовал – определённости в том, где будет левый фланг русской армии, не было. Да к тому же у 2-й армии отняли весь шанцевый инструмент в пользу

1-й армии. Потом, правда, приказ был отменён, но лопат и кирок всё равно было крайне мало. Багратион свирепел всё больше и больше. Он в эту кампанию считал, что все вокруг едва ли не нарочно оставляют на долю его армии все беды и несчастья. Вот и сейчас выходило так, что его армия имела за спиной Старую Смоленскую дорогу и Утицкий лес. «Придут ко мне лесом, а я и не замечу!» – угрюмо думал князь Багратион, выехав утром 23 августа из деревни Семёновское в Шевардино, где должен был встретиться с Кутузовым.

С Кутузовым приехал и Барклай. Багратион ещё раз сказал, что его левый фланг при таком расположении войск находится в крайней опасности. Кутузов, подумав, предложил, если к тому вынудит бой, отступить за Шевардинский курган, ближе к Семёновскому.

– Каково же будет нам отступать в бою, под огнём?! – спросил Багратион. – Не лучше ли перенести туда левый фланг сейчас, когда есть время его укрепить?

Кутузов, неприятно удивлённый тем накалом, с которым вёлся разговор, нахмурился, пожевал губами и сказал, наконец:

– Отклоним левый фланг так, чтобы вот тот овраг (он показал рукой) пролегал перед его фронтом. Оконечность фланга надобно укрепить флешами. В таком положении и Старая Смоленская дорога будет под твоим призором, Пётр Иванович...

На том и порешили. Однако сила инерции (да ещё, по-видимому, нежелание просто так, без кровавой платы, отдавать неприятелю хороший пункт) была такова, что 23-го, одновременно с началом работ над укреплениями близ Семёновского (то, что потом названо было Багратионовы флешы), решено было строить и пятиугольный редут на Шевардинском кургане. Часть дня прошла за сбором шанцевого инструмента и распределением между Шевардинским и Семёновским сапёров, инженеров и землекопов, в которые отряжены были московские ополченцы. Работы начались только вечером 23-го.

## Глава шестая

Вечером 23 августа у всех, кто населял старый сарай в Татарках, была радость – к Муравьёвым приехал их старший брат Александр. Арьберггард Коновницына, к которому он был прикомандирован последние дни, приблизился к армии, и Александр вернулся к Барклаю, при котором и должен был состоять.

По этому поводу закатали небольшую пирушку, благо накануне Щербинин оказался удачлив. Особой ценностью была бутылка рома, привезённая Александром. Сожалея, что обстоятельства не позволяют сделать жжёнку (хоть ром и был её главной составляющей, но всё же его одного было мало, а больше ничего не имелось), офицеры заправили ромом остатки чая и расположились в сарае, который теперь казался им даже уютным.

– Жаркое было вчера дело с французами под Гриднево! Я и сам действовал с саблей в руках! – возбуждённо проговорил Александр Муравьёв. – Весь поход – карандаши да чертежи. А вчера попали мы под французскую кавалерию. Вижу – летят они на нас! Вытащил саблю. У нас командуют: «Вперёд, марш, марш!». Ну, думаю, всё: быть рубке! Мы понеслись. Но до рубки не дошло – мы от французов остановились на пистолетный выстрел и начали друг в друга палить. А у меня-то и пистолета нет. Ладно хоть потом снова мы сделали напор и французы показали тыл.

– Ну и что, дотянулся ты хоть до одного француза? – спросил Михаил Муравьёв, глядя на брата светящимися в темноте глазами.

– Нет, братец, не догнал... – отвечал Александр и порадовался, что в сарае темно – вид брата напугал его, и сейчас слёзы просились на глаза.

– Дааа. И я ведь до службы думал, что конница с конницей рубится в каждой атаке, – проговорил Мейндорф. – Всё удивлялся – как же они годами служат при таких-то жестокостях? И только здесь увидел, что до шишки доходит разве один раз из десяти.

– А вот я расскажу, господа, – начал уже чуть опьяневший Николай Муравьёв. – В Смоленске попал я первый раз под пули. Они летели отовсюду, но я-то ещё не знал, что это пули и только когда увидел, как они бьются в забор слева от меня, понял. Да вот и шашку я тогда же подобрал!

Муравьёв вытащил откуда-то сбоку и из-под себя шашку, действительно очень красивую. Все принялись её разглядывать, но не столько из любопытства – все ведь видели множество таких игрушек и начин друг перед другом хвалиться, хвалились бы до утра – сколько из уважения к Муравьёву.

– Шашку взял, а вот пулю, которая подлетела к моим ногам и которую хотел взять на память о первом виденном мною деле – потерял! – сказал с некоторой досадой Муравьёв.

– Подберите любую другую – не сегодня так завтра будет много таких сувениров, – сказал, зевая, Щербинин.

– Думаете, мы всё же будем здесь биться? – спросил Мейндорф.

– Если по мне, так битва будет! – сказал Николай Муравьёв с той твердостью, которая бывает у захмелевших молодых людей. – Ездили мы сегодня с полковником Павлом Ивановичем Нейгартом на правый фланг укреплять позицию. И на высоте напротив корпуса Багговута видим – стоит Кутузов со штабом. Остановились мы, гадаем – о чём бы мог быть разговор? И тут слышим – Багговут что-то кричит по-немецки. А это, оказывается, из леса вылетел орёл и начал над Кутузовым кружить! Прямо над головой старика! А Багговут-то и кричал: «Айн адлер! Айн адлер!»... Так что и сражению быть, и славе. Польём мы наши поля французской кровью!

Все замолчали – понятно было, что ведь и своей крови прольётся немало, и для кого-то из них нынешняя чашка рома может быть последней. Говорить об этом не принято было – в таких разговорах будто была слабость. Но себя не перехитришь. Нынешний день, 23-е, была пятница. «Кто из нас доживет до понедельника? – подумал вдруг Михаил. – А до следующего понедельника?»...

Хотя от рома и приезда брата ему стало лучше, но он всё равно понимал, что уже давно не хватает ему сил терпеть эту усталость и нужду. Он вспомнил, как в Вильно они мечтали о почестях и славе, но по бедности и мечты были с воробьиными крыльями – брат Николай, например, сказал, что останется доволен и Владимирским крестом – и даже не на шею, а в петлицу. (Как раз Николай стал потом из всех братьев большим военачальником, в 1855 году взял турецкую крепость Карс, за что награждён Георгиевским

крестом второй степени, о котором в молодости не осмеливался и мечтать).

– Николай, а остался ли ещё ром? – Мейндорф прервал молчание, которое становилось ощутимо тягостным. – Давайте лучше судачить о наших генералах – за этим время пройдет незаметно.

Все захохотали. Тут же наладился оживлённый разговор.

## Глава седьмая

Вечером 23-го августа начались работы на Семёновских флешах и Шевардинском кургане. Багратион, не желавший утомлять работой солдат – не для того и набраны, да и не сегодня-завтра битва – послал в 1-ю армию требование прислать рабочих. Но в 1-й армии рабочие были нужны самим – требование осталось без ответа. Решено было употребить для работ ополченцев, но и это решилось не сразу – ополченцы успели поработать на флешах только 25-го числа. Неторопливость эта объяснялась тем, что и Багратион, и Барклай, и Кутузов полагали, что арьергард Коновницына удержит неприятеля вдали от поля ещё два дня (к тому же и французы разбаловали русскую армию своей неторопливостью и остановками по любой причине и без неё). Однако французы вдруг проявили в арьергардном сражении странный напор и вечером 23-го были уже в Гриднево, в 12-ти с небольших верстах от новой позиции русской армии, на расстоянии одного неторопливого перехода.

Предчувствуя неладное, Шевардинский редут строили всю ночь и всё утро, уже слыша приближающуюся пальбу. Коновницын при отходе принял влево и ушёл по Новой Смоленской дороге к армии. К Шевардину утром 24 августа вышла только та часть арьергарда, которой командовал граф Сиверс. Возле редута находился корпус генерал-лейтенанта князя Горчакова, состоявший из 27-й пехотной дивизии, трёх егерских и двух драгунских полков.

Сиверс и Горчаков встретились возле редута. Хотя они и были почти одних лет (Сиверсу – 35-ть, а Горчакову – 33-и, при этом Горчаков был старше чином), но из-за унылого и будто бы изнурённого лица Сиверс казался старше

круглолицего, кудрявого Горчакова, почти постоянно улыбавшегося. К тому же, Сиверс понимал, что его ждали на Бородинском поле разве что завтра, и чувствовал некоторую вину за то, что не сумел удержаться на позиции. Но уж больно решительно взялись за него французы!

– Добрый день, Карл Карлович! – сказал ему Горчаков, подъезжая к Сиверсу. С Горчаковым был и Неверовский, командир 27-й пехотной дивизии, составлявшей основу корпуса Горчакова. Сиверс грустно посмотрел на Горчакова. «Хорошо же тебе весельчаком быть. А вот прошёл бы с армией от самой границы, посмотрел бы я на тебя...» – подумал Сиверс. Горчаков в 1809 году в письме неосторожно поздравил австрийского эрцгерцога с битвой при Ваграме, где Наполеон едва не обломал об австрияков зубы. На беду в то время, после Тильзита, Россия была Наполеону союзник. Перехваченное письмо французы представили императору Александру и тот Горчакова выгнал из службы «навечно». Оба при этом понимали, что уж тут-то ничего «вечного» не будет – так и вышло: после начала войны, 1 июля, Горчаков был возвращён в службу. Однако первых, самых тяжёлых, недель похода, когда войска шли в непроглядной пыли, когда ужасная жара сменялась ураганами, и вновь жарой, когда не то что река или ручей, но любая лужа на пути войск немедленно выпивалась, Горчаков не застал.

– Разве добрый? – спросил Сиверс.

– А разве нет? Дело к битве! – отвечал Горчаков. – А нам и вовсе её ждать не приходится – вы же на своём хвосте привели нам гостей?

Горчаков при этом лукаво улыбнулся. Сиверс нахмурился и вздохнул.

– Бросьте! – сказал Горчаков. – И мы их ждём, и князь Кутузов ждёт. Нам бы только так сделать, чтобы французы разгон потеряли. Много ли их идёт за вами?

– Боюсь, что вся армия, – усмехнувшись, ответил Сиверс. – Если они навалятся все, то нас ненадолго хватит.

– К счастью, местность такова, что все не пройдут. Да и времени им не хватит – осенний день короток... – Горчаков, говоря это, вертел головой. – Вот видите высоту слева от редута? Устройте там батарею, и большую. А вот видите пригорок справа? Там тоже поставьте пушки – сколько поместится. А там уж посмотрим...

Сиверс коротко поклонился и поскакал к своему отряду – распорядиться. Издалека он увидел редут, с которого ещё не ушли рабочие. «Что-то не внушает он опаски... – удивленно подумал Сиверс. – Неужто не выкопали ничего?»...

Редут и правда был сделан едва ли наполовину. Кое-каким препятствием для неприятеля мог служить неглубокий ров, а прикрытием для артиллерии – невысокий вал. Чтобы насыпь не осыпалась, внутреннюю стенку обложили дёрном, но и это – не везде. Главной трудностью для французов могли быть крутые скаты самого кургана – на них и оставалось надеяться. «Русский «авось»... – подумал Сиверс, сам происходивший из Лифляндской губернии (нынче его скорее всего сочли бы эстонцем) и за 20 лет службы так и не привыкший к русскому фатализму. – Ни основательности, ни расчета»...

– А тебе, Дмитрий Петрович, – сказал Горчаков, проводив взглядом Сиверса и поворачиваясь к Неверовскому, – постановляю: держи свою дивизию в колоннах позади редута и в обиду его не давай.

Неверовский, пухлощёкий и с густыми бакенбардами, усмехнулся, чуть поклонился Горчакову, и поехал прочь, к видневшимся справа войскам.



## Глава восьмая

Ещё в семь утра шедшая во французском авангарде 5-я дивизия генерала Компана уткнулась в русских. Маневрируя, французы теснили русских, и вскоре после полудня, выйдя из лесу, увидели огромное поле с линиями войск, кострами, дымами, блеском штыков. На пути к этому полю была высота, а на ней – большой редут.

– Надо сообщить Мюрату о том, что русские ждут нас здесь, – сказал генерал Монбрен одному из своих адъютантов. – Скажите, что они построили редут и имеют вокруг него большой гарнизон. Я полагаю, это уже основная их позиция. Пусть маршал решает – атакуем ли мы её сегодня или откладываем это удовольствие на завтра.

По обычаю тех дней, большие битвы не начинали после полудня. Но Наполеон, после попыток рассмотреть окрестности в зрительную трубку (поле застилала пелена дыма – чадили подожжённые русскими деревни), после совеща-

ния с Даву и Неем, решил всё же, что редут этот к основной позиции не относится и выдвинут русскими для решения каких-то своих мелких нужд. Редут велено было атаковать – надо было ведь расчистить выход на поле. С другой стороны, Наполеон надеялся, что в бой за редут втянется вся русская армия. Отдав приказ, Наполеон принялся мурлыкать себе под нос какую-то песенку – он был рад, что дело, наконец, склоняется к генеральной битве.

Компан пошёл с фронта, Понятовский со своим корпусом выходил во фланг и тыл редута. Следом за ними подходила вся армия – и вместе с ней Брандт и Гордон, увидевшие Шевардинский редут за несколько минут до того, как он окутался пороховым дымом.

Чтобы справиться с редутом побыстрее, для атаки были отряжены немалые войска – около 36 тысяч пехоты и конницы при 200 пушках, тотчас открывших отчаянный огонь.

– Ну, вам жарко придётся для первого раза, – сказал командир 57-го полка полковник Жан Луи Шаррьер лейтенанту Жаку Гардену, прибывшему к полку только вчера и получившему во 2-м батальоне роту, командир которой был накануне убит.

Гарден, казавшийся из-за тонких черт своего лица чрезвычайно молодым и от этого очень страдавший внутренне, и без того всю ночь провёл в нервном ожидании своего первого боя. Особенно, больше смерти, страшили его мысли о ранении, лазарете и хирургических операциях, рассказов о которых он наслушался от офицеров, преподававших в военной школе в Сен-Сире. К тому же накануне вечером какой-то солдат сказал, глядя на луну: «Какая она красная! Видно, много крови завтра прольётся»...

После этого Гарден не спал и теперь был в таком состоянии, что переложил в мундирный карман на сердце бумажник и платок, казавшиеся ему бронёй. Правда, утром, после переклички, батальон распустили – казалось, что боя не будет, и Гарден не хотел признаваться самому себе, как он этому рад. Но в три часа появился полковой адъютант с приказом, и полк выступил навстречу бою. Уже около часа полк находился под огнём и за это время настроение Гардена становилось всё лучше и лучше: он понимал, что с какой стороны ни глянь, а он находится под настоящим артиллерийским обстрелом и – не боится! Русские ядра



сыпались градом, но пока что единственная неприятность, которую они доставили Гардену – забрызганный грязью рукав мундира, который Гарден, радуясь заделью, начал тут же чистить.

57-й линейный полк был одним из лучших в армии. Еще с Итальянского похода он носил звание «грозный». Состоял полк в основном из солдат-ветеранов. Командиром 2-го батальона был капитан Ла Булаэр, высокий брюнет с суровым, неприятным лицом и неожиданным при такой внешности слабым сиплым голосом – Гардену уже пояснили, что виной всему пуля, пробившая Ла Булаэру грудь в сражении под Йеной. Время от времени Гарден ловил на себе взгляды Ла Булаэра и понимал, что тот в нём сомневается. От этого Гарден напускал на себя всё более геройский вид.

Это тем более не составляло труда, что русские, убедясь в малой действенности ядер, переменили их на гранаты. Одна такая разорвалась вблизи от Гардена, убила рядом с ним солдата, а самому Гардену лишь продырявила осколком кивер. Ла Булаэр подошел к Гардену, поднявшему и разглядывавшему кивер, и сказал:

– Поздравляю вас, теперь вы можете быть спокойны на весь день.

Гарден сначала не понял, о чём это он. (К тому же, хоть Гарден и старался не показывать вида, но когда кивер сорвало с головы, ему показалось, что на миг он лишился чувств). Но тут Гарден вспомнил старинную солдатскую примету: дважды в одно место не попадает. Гарден, переполняясь странным ликованием, надел кивер чуть набок и сказал:

– Хочешь-не хочешь, а поклониться пришлось!

Ветераны 57-го, внимательно наблюдавшие за ним, одобрительно засмеялись. Один лишь Ла Булаэр смотрел хмуρο. Потом он наклонился и тихо сказал Гардену:

– Я вас поздравляю – с вами ничего уже не случится. А вот я чувствую, что печь сегодня затоплена для меня... Каждый раз, когда я бывал ранен, рядом офицер получал пулю в сердце. И... – тут он перешёл на едва уловимый шёпот, – имена этих офицеров всегда начинались на «б»...

Гарден не знал, что сказать. Холодная волна окатила его, он смотрел на капитана во все глаза. Лицо капитана и правда показалось Гардену странным. Он вспомнил, как в училище рассказывали, будто предчувствие близкой смер-



ти накладывает на лицо свой отпечаток, и сейчас пытался разглядеть, отличается ли лицо капитана от других лиц. Но капитан почти сразу после этих слов отошёл.

Ещё некоторое время полк стоял на месте, а затем двинулся вперёд. Гарден увидел по пути, что французская артиллерия обстреливает курган и редут с соседней высоты, которую русские почему-то оставили не занятой. Эта стрельба, понял Гарден, и была причиной того, что огонь русской артиллерии изрядно ослаб.

Тут 57-й вышел на открытое пространство и попал под ружейный огонь русских. Гардена удивило, что огонь этот почти не причинял полку вреда. Гарден с каждой минутой чувствовал себя всё лучше. «В конце концов, – подумал он, – сражение не такая уж страшная вещь!». Он уже думал, как будет рассказывать обо всем этом одному знакомому писателю в Париже.

Полк двигался вперёд беглым шагом. Русские стрелки вдруг умолкли. На всех это произвело странное впечатление. Солдаты 57-го начали переглядываться. Ла Булаэр, шедший с обнажённой шпагой рядом с Гарденом, просипел ему в ухо:

– Не нравится мне это молчание. Они что-то задумали.

Гарден уже и не рад был, что капитан выбрал его своим доверителем, но деваться было некуда. Между тем, 57-й дошёл уже до самого кургана. Гарден видел, что насыпи редута обвалились. Возбуждение его всё росло, он видел всё как в тумане. «О, чёрт!» – вдруг сказал кто-то рядом с ним. Гарден поднял глаза и увидел (впрочем, всю свою жизнь он не мог понять, видел ли он это или ему виделось?), как наверху выстроились в ряд русские гренадеры, каждый из которых, казалось Гардену, целил ему прямо в лоб!

Гарден на мгновение остолбенел.

– Ну теперь попляшем! – вдруг закричал рядом Ла Булаэр. – Добрый вечер!

В этот же миг русские выстрелили. Гарден зажмурился и не сразу открыл глаза. Ла Булаэр лежал у его ног – он был убит наповал. «Печать смерти... Печать смерти... Надо посмотреть»... – подумал Гарден, сам тут же удивляясь нелепости этого желания. Он быстро оглянулся – кроме него из всей роты оставались на ногах ещё только семь человек, как и Гарден, озиравшихся вокруг.

– Придите в себя, лейтенант! – полковник Жан Луи



кончилось. 6-й батальон 57-го полка занял курган и провёл там ночь, среди стонов раненых людей и лошадей. Французы обшаривали карманы и ранцы мертвецов – как своих, так и тем более русских, у которых они брали водку и «русские бисквиты» (так французы называли наши армейские сухари).

В это же время Кутузов, убедясь, что ночного прорыва французов на поле не будет, поехал в Татариново, где для него была приготовлена изба. Карл Толь еще днём сказал Кутузову, что кроки готовы – следовало разметить на них войска. Однако сделать это можно было лишь зная, чем кончится схватка за Шевардино, далеко ли после неё продвинутся французы. Упорство Горчакова Кутузов одобрял – если бы не оно, французы могли бы на хвосте отступающего отряда Горчакова въехать в русские порядки, и ещё неизвестно, чем бы мог обернуться такой бой. «В конце концов, и в темноте можно отлично друг друга убивать», – подумал Кутузов.

В избе Толь выложил на стол кроки – большую карту, начерченную от руки на нескольких склеенных листах. Кутузов уже всё обдумал: на случай, если французы решат обойти его правый фланг, ещё с 22 августа строились укрепления у деревни Маслово. Лес за Масловскими укреплениями заполняли егерские полки, а далее от них шли линии войск: в первой линии (кор-де-баталь), плечом к плечу – 2-й корпус Багговута, 4-й корпус Остерман-Толстого, 6-й корпус Дохтурова, 7-й корпус Раевского, и 8-й корпус Бороздина у деревни Семёновское. Во второй линии стояли кавалерийские корпуса. Ещё глубже, позади правого фланга стояла конница Уварова и Платова, за центром – гвардия, а за левым флангом – масса артиллерии. Кутузов по рассказам знал, что при Прейсиш-Эйлау артиллерийским огнём был расстрелян весь корпус Ожеро, и хоть не слишком этому верил, но всё же допускал. Центром позиции выходила деревня Горки, к которой справа примыкал 4-й корпус, а слева – 6-й. (На кроках нет укрепления, потом названного батареей Раевского – решение строить его и сделать центром позиции было принято позже).

Ожидая от Наполеона сюрприза на своем правом фланге, Кутузов решил и ему сделать ответный подарочек: в нижнем левом углу карты, где была нарисована деревня Утица, приказал обозначить впереди неё 3-й пехотный

корпус Тучкова, а позади – Московскую военную силу. Возле них своей рукой Кутузов написал: «Расположен скрытно». Толь, который наблюдал за всем этим со священным трепетом, Кутузов пояснил:

– Когда неприятель исчерпает свои силы, я пушу ему скрытое войско в тыл!

Толь тихо засмеялся.

– Отведи Тучкова на правый фланг сегодня же... – распорядился Кутузов. Толь тут же откланялся и вышел.

Карл Федорович Толь был человек не злой и не глупый. Но в 12-м году было ему уже за шестьдесят, а положения, которого, по его мнению, он заслуживал всегда, он добился впервые. С Суворовым в Швейцарии, с Кутузовым в 1805 году, на турецких войнах он был один из многих. И вот только нынче выдвинулся в главные люди армии. Он торопился насладиться властью, привычки к которой у него не было совершенно. Поэтому он не упускал случая показать всем, что она – власть – у него есть.

Алексей Ермолов, в те дни – начальник штаба 1-й армии, позже написал о Толе: «офицер отличных дарований, способный со временем оказать большие заслуги; но смирять надо чрезмерное его самолюбие, и начальник его не должен быть слабым, дабы он не сделался излишне сильным. Он (...) столько привязан к своему мнению, что иногда вопреки здравому смыслу не признаёт самых здравых возражений». Вторая часть этого наблюдения подтвердилась 25 августа, когда решалось, какое укрепление строить на кургане в центре русской позиции. А сейчас, в полном соответствии с первой частью ермоловской характеристики, получив распоряжение Кутузова, Толь со своей свитой (его в те дни окружало множество молодых офицеров), минуя Барклая, поехал прямо в 3-й корпус, и, найдя Тучкова, приказал ему следовать за собой на самый край левого фланга. Барклай узнал об этом позже, случайно, только когда, объезжая войска, увидел, что масса войск снимается из его боевого порядка и велел спросить, на каком основании это делается.

Узнав, что это приказал Кутузов, а всем распоряжается Толь, Барклай в который уже раз сделал каменное лицо. Вид его допускал толкование, что он знал о намерениях Кутузова и перевод 3-го корпуса согласован с главнокомандующим 1-й армии. На деле ничего он не знал и не удивлялся этому – это было всего лишь одно из многочисленных его

унижений последних дней. Да и не самое сильное, – думал теперь Барклай.

Ещё утром пришёл ему рескрипт императора Александра об удалении его с поста военного министра. «Нахожу я ваши занятия при армии столь важными и многотрудными, что полагаю исправление должности военного министра невозможным по совершенному недостатку времени, а равномерно по удалению, в котором вы находитесь от меня...» – писал царь. Но Барклай знал, что не расстояния тому причиной. Багратион весь поход писал всем о Барклае злобные письма. Но этот хоть по причине грузинской горячности своего мнения от Барклая не скрывал – а сколько было тех, кто интригуя за спиной, улыбался ему в лицо. Барклай уже давно не мог отделаться от мысли, что интригуют все, и ловил себя на том, что как-то особо взглядывает даже на тех, кто по мизерности должности интриговать не может – вот хоть на своих адъютантов. Барклай понимал, что он просто безмерно устал.

Лошадь шла медленно, Барклай не торопил её. Он не спешил в отведённую для него избу потому, что знал, что ему предстоит там делать. Ещё утром, после получения рескрипта от царя, он решил написать прошение об увольнении от службы. В его жизни не было счастья: после смерти матери он воспитывался у родственников; потом женился на кухне, толстой и некрасивой, не по любви, а по жизненному долгу, для поддержки людского круговорота на земле. Но рождавшиеся дети умирали один за другим – остался только один мальчик, Макс. Ни состояния, ни деревень не было. Только в службе и была его радость, а война – его чистое упоительное счастье. Лишиться службы было то же, что лишиться жизни. Барклай слышал о людях, которые кончают самоубийством, но сам не мог – Господь не принимал душу самоубийц (а Барклай хотел хоть там, на небесах, встретиться с матерью, которую так рано потерял, и которую так любил). Но на этот счёт был у Барклая свой план, который при всей его ужасности наполнял душу генерала покоем и радостью.

Позже, добравшись до избы и сделав всё, что могло оттянуть написание прошения, Барклай всё же заставил себя сесть за стол и написать самое проклятое письмо в своей жизни. Он писал его сам, хотя правая рука, изувеченная в 1807 году в сражении при Прейсиш-Эйлау, с тех пор плохо

слушалась, буквы приходилось писать больше обычных, но и тогда их было трудно разобрать. Однако не хватало духу диктовать это адъютанту и знать, что весть разлетится по лагерю тотчас после того, как адъютант выйдет из избы. Переходить в Швецию по льду Ботнического залива в 1809 году – хватало, а диктовать – нет.

«Я Вам предсказывал, Государь, что клевета и интриги успеют лишить меня доверия моего Монарха. Я ожидал этого, потому что такой результат совершенно естественно вытекает из порядка вещей. Но мне трудно было представить себе, что я кончу тем, что навлеку на себя даже немилость и пренебрежение, с которыми со мной обращаются»...

Тут он вспомнил о корпусе Тучкова и поморщился. В груди стало больно.

«Совесть моя говорит мне, что я не заслуживаю этого. Рескрипт, который Вашему Величеству угодно было дать мне от 8 августа, рескрипт князю Кутузову и обращение здесь со мною служат очевидными тому доказательствами. В первом из этих рескриптов я настолько несчастлив, что причислен к презренным и продажным людям, которых можно побудить к исполнению их обязанностей лишь призрачной надеждой награды. Во втором же рескрипте операции армии подвергнуты порицанию. Последствия событий покажут, заслуживают ли они осуждения; поэтому я не хочу оправдывать перед Вами, Государь, эти операции».

Он выводил большие буквы в обращении к царю особенно тщательно. Он бы писал большими все буквы в словах «государь», «император», в обращениях «вам». Император был для него, потерявшего мать в десять лет, а отца в двадцать, всем. От мысли, что император думает о нём плохо, у него болело сердце.

До сих пор самым светлым воспоминанием была его встреча с царём в марте 1807 года в Мемеле, где Барклай тогда лечил свою руку. Сорок осколков вынули из неё. Но преодолевая боль, Барклай составлял план о действиях русских войск на случай вторжения Наполеона в Россию. Об этом-то плане узнал государь, потому-то и решил встретиться с генералом. Уже тогда главной мыслью было отступлением заставить Наполеона оторваться от баз, растянуть коммуникации – и именно за эту идею царь награждал его и возвысил.

Потом Россия стягивала свои войска, выводя полки из Сибири, формируя новые части, оставляя на службе ополченцев 1807 года, для того, чтобы упредить Наполеона. Четыре армии (кроме 1-й и 2-й Западных, была 3-я Западная армия Тормасова и Дунайская армия Чичагова), были подготовлены к походу против Наполеона. Разыгрывались разные планы – что будет, если начнём мы? что будет, если начнёт он? Но хоть с января 1812 года Барклай стал военным министром, а радости не было в нём – слишком далеко отгеснён он был от своей же идеи, слишком многое поправили в ней нынешние советчики царя, планы которых всем были хороши, и имели только один недостаток: как и при Аустерлице, создатели их считали себя умнее Наполеона. Поэтому, когда он и правда начал, оказалось, что ни один план не годен.

Вернее так: отступление тоже был план, и он сработал. Царь ещё до войны говорил, что, если надо, он отступит до Сибири (в 1812 году он эти слова только повторил). Но когда пришлось отступать на деле, это оказалось не так легко – не принимала этого русская душа. Оказалось, точка надлома у русского народа гораздо ближе Сибири. Уже приход французов в Смоленск был для русских чем-то небывалым.

«Будто не были в Смоленске вот хотя бы поляки... – подумал Барклай, глядя на свечу и не видя её. – Да поляки были и в Москве». Уезжая от армии в июле, государь сказал Барклаю: «Поручаю вам свою армию, не забудьте, что у меня второй нет». Барклай не забывал – вот она, армия, он не дал её разгромить и этим спас Россию. Барклай так и думал – «спас, именно спас, этого вы у меня не отнимете» – будто спорил с кем-то. «Впрочем, отнимут, всё отнимут...» – подумал он, мотнул головой и продолжил писать.

«Здесь обращаются со мной так, будто мой приговор подписан. Не ожидая моего согласия, отбирают чиновников, мне подчинённых. Меня поставили в рамки, в которых я не могу быть ни полезным, ни деятельным».

Барклай остановился – по столу полз таракан. Генерал вдруг подумал, что вот ведь и это – Божья тварь, и выходит они с тараканом равны? Да ещё и не счастливее ли его, генерала, человека, этот таракан – ведь наверняка никаких интриг нету в этом тараканьем мире. «Или есть?..» – усмехнулся Барклай. Таракан подполз к свече и шевелил усами,

повернувшись так, будто смотрел на Баркляя. Он усмехнулся ещё раз и смахнул таракана со стола пером.

«Теперь я раскрыл сеть самой черной интриги, посредством которой осмелились довести до сведения Вашего Императорского Величества тревожнейшие известия о состоянии армии; я знаю, Государь, что Вас продолжают ещё поддерживать в том мнении, чтобы в случае счастливого успеха придать более цены собственной заслуге; знаю, что каждому из моих действий, каждому моему шагу были даны неблагоприятные истолкования и что их довели до сведения Вашего Императорского Величества особыми путями. Но в моём настоящем положении, особенно видя к себе пренебрежение, я чувствую себя слишком слабым, чтобы переносить внутреннюю скорбь, которая приводит меня в отчаяние. Мой ум и мой дух опечалены, и я становлюсь ни к чему не способным».

Он перевёл дыхание. С каждой строчкой этого письма прожитая жизнь его теряла смысл. Она была прожита для славы – а теперь славы не было. Для положения в обществе – но не осталось и этого. Для истории – но ведь и из истории вымарают, или впишут в неё так, что лучше бы вымарали.

Барклай поморщился и начал писать последние, самые тяжёлые строки.

«Осмеливаюсь поэтому покорнейше просить Ваше Императорское Величество освободить меня из несчастного положения и совершенно уволить от службы. Осмеливаюсь обратиться к Вам с этими строками, Государь, тем с большей смелостью, что мы находимся накануне кровавой и решительной битвы, в которой, может быть, исполнятся все мои желания».

Снова вылез на стол таракан. Барклай вдруг затаил дыхание и медленно-медленно начал тянуть к рыжей твари руку. Таракан шевелил усами, но не убежал. Сложенные клещами пальцы генерала нависли над шевелящимися усиками, помедлили... и вдруг схватили! Таракан затрепетал. Барклай поднес его ближе к лицу, не чувствуя отвращения – несметные полчища тараканов были обычны в крестьянских избах. Барклай и сам не понимал, зачем это сделал – зачем ему таракан? Но он смотрел на извивающуюся рыжую тварь, а потом поднёс его к пламени свечи и со странной улыбкой наблюдал, как таракан, облизывает

мый огнём, корчится, как сгорают его крошечные лапки, как скукоживается панцирь. Вдруг огонь обжёг Барклаю пальцы.

«Что со мной? – подумал он, отдёргивая руку. – Я схожу с ума. Ничего, до завтра не сойду. А завтра, самое большое, послезавтра, Бог даст, всё кончится».

Он вписал в письмо ещё несколько строк – обязательных строк о почтении и любви к императору – и, пока чернила сохли, крикнул дежурного офицера.

– Кто курьером?

– Корнет Инзаров! – отвечал дежуривший майор Вольдемар Левенштерн.

– Пусть не медля явится ко мне за пакетом в Петербург... – сказал Барклай. – И сей же час отбывает.

Левенштерн странно смотрел на Барклая, и Барклай подумал: «Знает. Все знают». Он отвернулся и посмотрел на чёрную от копоти икону, оставшуюся от хозяев.

«Господи, дай мне сил... – подумал Барклай. – Господи, дай мне сил».



## Глава десятая

После того, как русские отступили от Шевардинского редута, вместе с войсками туда приехал Наполеон. Лошади шагом пробирались в темноте между мёртвых и раненых.

– Что вы думаете об этом бое, Ней? – спросил Наполеон.

– Полагаю, что мы атаковали основную позицию русских и завтра они попробуют её вернуть... – отвечал Мишель Ней, высокий, рыжий и кудрявый. Наполеон довольно кивнул.

– Либо уйдут ночью с поля дальше на восток... – вставил маршал Даву, лысый и большеголовый. Наполеон сердито оглянулся на него, но промолчал. Даву был способнейшим из всех: в октябре 1806 года он при Ауэрштедте разгромил всю прусскую армию, втрое превышавшую его корпус числом. Одновременно под Йеной пруссаков атаковал и Наполеон, и только после победы выяснилось, что император разгромил вдвое слабейший корпус принца Гогенлоэ. Тогда, в 1806-м году, Наполеон добродушно отнёсся к отнятым у него лаврам – Даву получил титул герцога Ауэр-

шtedского. Однако с тех пор старался держать маршала в узде. (Привычка эта сыграла с Наполеоном злую шутку – в 1815 году, отправляясь навстречу Блюхеру и Веллингтону, он оставил Даву командовать гарнизоном Парижа, а ведь на поле Ватерлоо он нуждался в талантах Даву сильнее чем когда-либо).

То, что русские и впрямь могут уйти, беспокоило Наполеона больше, чем он хотел показать. Всё было долго, слишком долго. Кампания длилась третий месяц – а Великая Армия не была рассчитана на такой срок. В 1805 году, начав в октябре, он через три недели взял в плен армию Макка в Ульме, 13 ноября вошел в Вену, а 2 декабря разгромил союзников при Аустерлице. В 1806 году от первого боя с пруссаками до вступления в Берлин прошло 17 дней.

Наполеон перебирал эти числа и названия в голове, как другие перебирают драгоценности в своей шкатулке. Были у него и другие драгоценности – 80-граммовый алмаз «Регент», ради которого люди убивали друг друга 300 лет, он приказал впаять в рукоять своей шпаги. Но сам блеском «Регента» не любовался – он был предназначен ослеплять других, без слов объяснять им величие своего обладателя.

Алмазами и брильянтами Наполеона были его бои и походы. (И не только победы – на Святой Елене он диктовал воспоминания, показывавшие, что и неудачный Египетский поход он помнил во всех, даже самых мелких, подробностях). Поход в Россию должен был стать главным украшением. Наполеон перед походом думал – чем же он после будет заниматься? – и решил не добивать Россию до конца, чтобы и на потом был у него противник. Оставалась, правда, ещё Англия, но её можно было просто игнорировать – пусть бесится на своём острове, в своей клетке. Что толку в английском золоте, если в Европе не будет армий, которые Англия могла бы нанять для борьбы с Наполеоном?

К тому же король Джордж Третий то и дело сходил с ума – последний приступ неведомой болезни, при которой король боялся света, а на зубах у него выступала кровь, начался в 1810 году и не кончился до сих пор. Наполеон зябко повёл плечами. На кургане и правда было по-осеннему холодно, но передёрнуло Наполеона не от этого – он просто представил, а ну как и его лишит Господь разума...

Наполеон не знал, верит ли он в Бога. Война, убийство человека человеком, не могли быть угодны Богу – и всё-

таки были. Почему не остановит людей Господь? Или Он ждёт, что люди остановятся сами – устроятся, устыдятся, убоятся того, что творят? Наполеон иногда размышлял, для чего ему дана его, ни с кем не сравнимая, судьба – и не понимал. Вернее, для чего она дана именно ему, понимал: она принесла ему славу и власть. Но для чего он, Наполеон, дан миру? Ну ладно, Ней без него был бы бочаром, как его отец, а Мюрат держал бы трактир: теперь один герцог, а другой король. Но вот Талейран, министр иностранных дел, на заданный в минуту раздражения вопрос императора «Кем бы вы были без меня?!» ядовито ответил: «Сир, я был бы епископом!» Выходило, что не всем, далеко не всем, от него, Наполеона, было счастье.

Наполеон и его свита смотрели с Шевардинского кургана на русские позиции. Наполеон по расположению костров пытался разгадать планы Кутузова. В 1797 году, при Риволи, он по огням австрийского лагеря угадал расположение колонн неприятеля, а из этого – его намерения. Но тут огни не говорили ему ничего.

Из темноты выехал Огюст Коленкур, кавалерийский генерал.

– Коленкур, ты привёл мне пленных? – спросил Наполеон.

– Сир, – отвечал Коленкур с лёгким поклоном, – я не мог их взять: русские не сдаются. Они предпочитают смерть.

Наполеон угрюмо замолчал. Все поняли, что известие об отсутствии пленных раздражило и озаботило его.

– Сир, я слышал, что русские приучены к этому турецкими войнами, где пленного ожидают долгие мучения... – проговорил Бертье, надеявшийся, что такое объяснение хоть как-то устроит императора.

– А при Аустерлице?! – вдруг сказал Наполеон. – Там мы взяли в плен десять тысяч русских и среди них восемь генералов, двое из которых не были даже ранены. Это вы как-то объясните?

Он угрюмо замолчал. Сам-то он знал ответ: не сдаются герои. Выходит, на той стороне поля в ожидании битвы стоят 100 тысяч героев – не много ли даже для него?! При том же Аустерлице 200 русских кавалергардов пошли в атаку против всей его армии. Он потом решил посмотреть на тех, кто остался жив. Их было 16 человек, изрубленных и исколотых, едва живых, но смотревших на него так, будто это

они победили. Он не знал, о чём их спросить. Хотя и понимал их: в 1796 году при Лоди сам пошёл со шпагой впереди солдат по мосту. Только потом, вспомнив, как пули, словно пчёлы, гудели со всех сторон, он понял, что это было чудо – пройти по этому мосту и остаться невредимым. Именно с Лоди он уверовал в свою звезду. Он поднял голову, но нынче небо затянули тучи и он не увидел звёзд.

Вдоль Новой Смоленской дороги горели деревни. Наполеон, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, начал считать пожары и остановился на двадцати. От этого пламени даже на кургане было светло.

Глазами опытного артиллериста Наполеон осмотрел остатки редута и скривил губы.

– Что здесь было атаковать, Даву? Почему дивизия Компана потратила на это половину дня? – спросил Наполеон.

– Сир, вы знаете, что русские очень упорны... – отвечал Даву.

– Упорные они или нет, но они сделаны из мяса и костей, и французская пуля убивает их так же, как и всех других! – бросил Наполеон. Но разозлился и Даву.

– Сир, русского мало убить, его надо ещё и повалить! – с силой сказал маршал.

Наполеон помолчал, уставясь на Даву. Он понял, о чём тот говорит. Необычайное упорство русские, их умение стоять там, где все другие армии бежали бы давно, известно было Наполеону с 1807 года, с Прейсиш-Эйлау. Русские гренадеры тогда прорвались к самому командному пункту Наполеона. Он видел их лица. Спасла императора подоспевшая французская пехота. «Мюрат, и ты позволишь этим людям сожрать нас?» – сказал он тогда своему маршалу, и Мюрат с огромной кавалерией пошёл в атаку и прорезал русские линии. Любая другая армия рассыпалась бы после этого, но русские сомкнули строй и продолжали биться. Наполеона снова передёрнуло, и снова не от осеннего холода.

– Ничего! – угрюмо сказал он. – В день битвы у меня будет резервная артиллерия, и я их повалю!..



## Часть вторая



### Глава первая

Утро было холодным и сырым. Николай Муравьев выбрался наружу и пытался привыкнуть к резкому ветру. Когда вчера после Шевардинского боя он вернулся в Татарки, оказалось, их сарай заняли ранеными. Помыкавшись по деревне, Муравьев и его товарищи чудом нашли пустой овин. Пустовал он, должно быть, потому, что вход был завален обрушенной стеной пристроенного к овину амбара. На своё счастье, офицеры отыскали в овин ход – через узкое окно, расположенное довольно высоко. Овин оказался ещё и небольшой – лежали почти друг на друге, да ещё ночью залез к ним какой-то мужик-ополченец. Николаю Муравьеву в забытьи казалось, что он лежит возле дороги, а по ногам его идут егеря, причём он откуда-то знал, что это егеря 31-го полка. «Кто тут?» – будто бы спросил Муравьев, и егеря будто бы ответили ему: «Наши!». В этот момент он и проснулся. По ногам его и правда кто-то топтался. Муравьев закричал: «Ты кто?» Неизвестный струхнул не меньше Муравьева, попытался сигануть в окно, но по причине его малоразмерности не пролез. Тут проснулись остальные, кинулись на неизвест-

ного, и принялись его бить. Бедолага начал кричать и окзался русским мужиком-ополченцем, отставшим от своих и залезшим в овин в надежде поспать. Выяснив, что овин занят господами, мужик, растирая по лицу кровь, полез из овина в ночь.

Вслед за Николаем Муравьевым на свет выбрался брат Александр, за ним – Михаил. Внутри овина гомонили голоса – проснулись и остальные.

– Григорий, вам помочь? – закричал Александр Мейндорфу, засовывая голову внутрь. Мейндорф накануне расставлял цепь стрелков в лесу возле Шевардино, и не заметил, как его обступили трое французов, один из которых уже кричал Мейндорфу по-французски: «Сдавайтесь!». Он и не отбил бы, но на его крик подоспели двое кирасиров Малороссийского полка и порубили французов палашами. Однако один из французов всё же успел ткнуть Мейндорфа штыком в ляжку – хоть не опасно, но Мейндорф хромал, и даже вчера, ещё в горячке после боя, залез в овин с трудом.

Сейчас Мейндорф силился перелезть в окно, поджимая раненую ногу и отталкиваясь от земли другой, здоровой.

– Да что вы, Григорий, мучаете себя, давайте мы вам поможем... – сказал Щербинин. Мейндорф сдался и принял помощь товарищей, которые в конце концов буквально вытолкнули его наружу.

Николай Муравьев уже правил свою бритву о кожаный ремень. Слуг у Муравьевых не было, да Николай уже давно и сам выучился бриться. (Усы офицерам были разрешены только в кавалерии, всем остальным полагалось бриться несмотря ни на что). Мейндорф, происхождение и состояние которого предполагало большой достаток, бриться сам не умел, и теперь с интересом смотрел на товарища. Бритва у Муравьева была английская, с длинной ручкой и коротким широким полотном, похожим на нож без острия.

– Григорий, а где же ваш Пантелей? – спросил Муравьев. Пантелей был у Мейндорфа слугой.

– Потерялся вчера в темноте у Шевардина... – озабоченно отвечал Мейндорф. – Как бы не убили – живой-то уже должен придти...

– Необходимость бриться – одна из мужских горестей... – весело проговорил Николай Муравьев. Сегодня ноги его напоминали о себе меньше обычного, да ещё и не кончи-

лось вчерашнее возбуждение – у Николая было ощущение, что жизнь едва ли не прекрасна. – Говорят, что английский щеголь Браммел после бритья ещё и выщипывает у себя на лице то, что не зацепила бритва...

– У Браммела три парикмахера – для лба, для затылка и для висков... – сказал Мейндорф, чтобы отвлечься (бедро болело). – А сапоги ему полируют шампанским.

Тут они с Муравьёвым одновременно посмотрели на свои сапоги – давно серые и бесформенные от многодневной грязи – и захохотали.

– Братец, одолжишь бритву? – обратился к Николаю Александр Муравьёв, в панталонах и рубаше, весь в каплях воды после умывания. – Я свою что-то не могу найти.

Николай, закончив бриться, отдал бритву брату, а сам смотрелся в зеркало, корча себе разные рожи, чтобы разглядеть, где он пропустил щетину. На завтрашний день Николай Муравьёв был назначен ординарцем к генералу Уварову и хотел показаться перед ним в лучшем виде, как подобает офицеру в день генеральной битвы (Муравьёв ещё был в том возрасте, который позволяет бриться раз на два дня).

– А хорошо бы щетина не росла! – сказал Александр, выбривая себе левую щёку. – Вот представьте, господа, когда я был у Коновницына в арьергарде, в ординарцах вместе со мной был подпоручик Литовского уланского полка Александров – так ему совершенно не было нужды бриться: не росло!

– Так он, может, совсем птенец? – сказал, позёвывая, Щербинин. Он выбрался из овина и шурился теперь на солнце, размышляя о необходимости кипятить чай.

– А вот нет... – ответил Муравьёв 1-й. – У него солдатский крест Военного ордена ещё за кампанию 1807 года – уж точно будет постарше нас...

– Значит, выпало человеку счастье... – сказал Щербинин. – Вы бы, Муравьёв, спросили его, в чём причина такого везения да рассказали нам – вдруг и у нас получится...

– При случае непременно спрошу... – ответил Муравьёв. (Александров, о котором они сейчас разговаривали, был на самом деле женщина – от того и не росла у него борода. Это была Надежда Дурова, сбежавшая в армию ещё в 1806 году от мужа и маленького сына. В 1807 году разоблачённую отцовским письмом Дурову привезли к царю,



который, выслушав её, разрешил ей служить, однако не раскрывая свой пол, под именем Александра Александровича Александрова. Слухи о том, что в русской армии служит женщина, ходили среди офицеров, но воспринимались и передавались как анекдот).

После утреннего туалета Николай взгромоздился на своего Казака и поехал искать дружины Московской военной силы – ополчения, в которое, как слышали Муравьёвы, вступил их отец. Муравьёв ехал вдоль Новой Смоленской дороги. Серые одежды ополченцев скоро показались перед ним. Остановив нескольких офицеров, Муравьёв стал спрашивать об отце, но никто не мог ему ничего сказать. Муравьёв загрустил и хотел было воротить коня, но ополченские офицеры обступили его. Муравьёв вдруг понял, что он для них, в своей прожжённой шинели, грязных сапогах и давно не чищенном мундире – ветеран, бывалый человек. Внутренне Муравьёв усмехнулся, но его 18 лет дали себя знать – уже через несколько минут он стоял в кругу ополченских офицеров и степенно рассказывал о походе, о войсках русских и неприятельских, о вчерашнем бое за Шевардинский редут. Только про свои больные ноги и брата Михайлу он ничего рассказывать не стал – как-то не вышло...



## Глава вторая

С Московским ополчением приехал к армии Пётр Вяземский, 20-летний князь. Он вступил в казацкий полк, созданный на деньги графа Мамонова, который придумал полку и форму. Патетическое настроение, охватившее Мамонова при создании полка, выразалось, видимо, лозунгом «Идущие на смерть приветствуют тебя!»: в результате Вяземский одет был во всё чёрное, а блестящие золотом эполеты и аксельбант только придавали грубового эффекта. На голове князя была высокая шапка (на следующий день её схожесть с медвежьими шапками французских гвардейцев едва не стоила Вяземскому жизни).

Ещё в Москве Вяземский встретил генерала Милорадовича, который предложил князю поступить к нему адъютантом. Вяземский согласился. Теперь, по достижении армии, оставалось лишь найти на огромном поле Милорадовича.

Дорога к армии, особенно встреченные в Можайске обозы с ранеными при Шевардине, подействовали на поэта ошеломляюще. Те, кого он привык видеть в гостиных, кто порхали на балах или говорили речи в собраниях, сейчас лежали по крестьянским телегам с плохо перевязанными ранами, иные и без рук или ног. Вяземский примерил эту участь на себя, но она была так страшна, что он тут же отогнал от себя этот призрак.

Попав на Бородинское поле, Вяземский снова был потрясён – это был почти город, шумный, галдящий, чадающий кострами! В Москве в те годы жили около 300 тысяч человек – а только в русской армии с офицерской прислугой, с маркитантами и обозниками, было никак не меньше ста пятидесяти тысяч – а поле Бородинское, при всём размахе, в несколько раз меньше Москвы.

В Татарках Вяземский спросил какого-то офицера, не знает ли он, где стоит генерал Милорадович. Офицер пожал плечами. Так повторилось несколько раз. При поисках увидел Вяземский избу, вокруг которой не прекращалось движение, и решил, что это-то уж точно какой-нибудь штаб. Подъехав, он спешился и только пошёл к крыльцу, как из дома вдруг бегом, гремя сапогами и шпорами, высыпало несколько офицеров, тут же закричавших: «Коня! Коня!». Вяземского этим потоком словно откинуло в сторону. И пока он приходил в себя, увидел, как на крыльцо вышел Кутузов. Предводитель русского воинства был одет в мундир, на голове вместо треуголки имел бескозырку. Шарф, которым офицеры опоясывались, был перекинут у него через плечо, и на шарфе висела шпага. В таком виде Кутузов прошёл к тут же подведённой для него низенькой лошади, сел с помощью казака в седло, и затрусил куда-то, сопровождаемой державшейся поодаль свитой, показавшейся Вяземскому бессчётной.

Вяземский, хоть и был рюрикович, а при виде Кутузова осел, и потом долго ещё думал, как он будет рассказывать про это в Москве. Тут кто-то из штабных сумел наконец подсказать князю, где же искать Милорадовича. Князь нашёл генерала у костра на солдатском биваке.

– Поздравляю, вы приехали очень кстати: битва завтра почти несомненна! – сразу после приветствия заявил Милорадович. Вяземский вдруг почувствовал, что ему стало горячо – он вспомнил эти подводы в Можайске, и в одной

из телег израненного Андрея Гудовича, своего старого знакомого, который в бреду его не узнал. Милорадович, посмотрев на этого юношу в очках, с причёской по последней моде, в романтической чёрной форме, вздохнул.

– Как там Москва? – спросил Милорадович. – Как Ростопчин?

– Ростопчин пишет, что француза в Москву не пустят... – ответил Вяземский.

– Молодец! – одобрительно кивнул головой Милорадович. – А что же горожане?

– Кто как... – покачал головой Вяземский. – Верят, а женщин и детей отсылают в дальние деревни. Вот Карамзин (создатель первой «Истории государства Российского» был женат на сестре Вяземского) отправил семью в Ярославль. А сам остался. Говорит: «не хочется трусить».

– Ишь ты... – Милорадович усмехнулся. – «Не хочется трусить»... Хорошие нашёл слова. А у нас здесь, князь Петр Андреевич, и захочешь – а не струсил. Будешь завтра при мне. Пока же располагайся в моей избе – а я буду в палатке...

Вяземский уехал. Милорадович посмотрел ему вслед. Сам он впервые попал под огонь в 17 лет. С тех пор, за 22 года службы, он много раз играл со смертью. У Милорадовича не было сомнений, что и завтра игра сложится в его пользу – почти никто из людей на войне не думает, что именно ему выкинет судьба плохую карту. Был у Милорадовича и свой трюк: отличная английская лошадь его скакала так быстро, что французские стрелки всегда стреляли туда, где Милорадовича уже не было. Усмехнувшись от этой мысли и придя в отличное настроение от предвкушения завтрашней опасности, Милорадович велел подать лошадь: после полудня Кутузов собирал всех главных генералов.



## Глава третья

Кутузов почти не спал эту ночь – он полагал, что Наполеон не побоится темноты и пойдёт в атаку. Однако обошлось без каверз – Наполеон не атаковал. Кутузов спрашивал себя: может, Наполеон и вовсе уже не способен на каверзы и можно воевать с ним, как с любым другим генералом? Впрочем, и от любого другого генерала можно было дожидаться сюрпризов.

«Уж такое наше ремесло»... – подумал Кутузов. Всю бессонную ночь он размышлял, всё ли готово для боя. На полдень собирал командиров – послушать, что они между собой говорят, когда думают, что он их не слышит.

В полдень Кутузов вместе с Багратионом, Барклаем, начальниками корпусов, штабов и командирами дивизий, многочисленными своими и чужими адъютантами, выехал из Горок. Кавалькада выехала к левому флангу шестого корпуса – на лежавшей перед флангом высоте Толь предлагал устроить батарею.

– Если мы её не устроим, то это сделают французы, – говорил Толь, стоя на склоне холма лицом к Кутузову и остальным чинам штаба. Кутузову подали скамеечку и он сел на неё.

– А что за польза нам в укреплении сей высоты, когда передовой наш пункт – деревня Бородино? – спросил Кутузов Толя. – Или мы деревню французам намерены отдать?

– Ваше высокопревосходительство, полагаю, что лучше иметь два укрепленных пункта, чем один... – ответил Толь, почтительно при этом сгибая корпус.

Кутузов усмехнулся.

– Что же ты хочешь здесь построить? – спросил он.

– Думаю, вполне довольно будет люнета на 18 орудий, с помощью которых мы сможем удерживать за собой всю местность вправо и влево от кургана... – ответил Толь.

– Позволю себе не согласиться... – вмешался в разговор Беннигсен. – Если уж мы решаем это место укреплять, то надо построить что-то стоящее, так как в бою может произойти всякое. А ну как потеряем мы Бородино – и тогда сия батарея будет не вспомогательным пунктом, а едва ли не ключом позиции. Предлагаю построить здесь сомкнутое укрепление на 36 пушек, с амбразурами вокруг, чтобы пушки могли стрелять через них на все стороны. Вот за такое укрепление неприятлю может быть целый день придется биться. Тем более, что другой высоты, с которой можно действовать против этого кургана, как вчера французы стреляли по Шевардинскому редуту с Доронинского кургана, здесь нет.

Толь заметно покраснел от волнения – он понимал, что Беннигсен говорит дело, и возражать ему надо по существу.

– Но если мы так сильно укрепим курган, а неприятель его возьмёт, то он будет отсюда через наши же круговые амбразуры громить наши же линии... – сказал он.



– Если допустить, что неприятель возьмёт такое укрепление, то уж с такой потерей, такой ценой, за которую нам будет не стыдно... – отвечал Беннигсен. – Открытую же с тыла батарею он возьмёт куда как проще и дешевле. Правильно построенное укрепление может сыграть в сражении важную роль – вот как царь Петр Великий при Полтаве своими редутами рассёк армию короля Карла.

Позади Кутузова генералы и штабные шептались, большинство было за Беннигсена: строить так строить! Но высказаться в его пользу никто не решился – отношение Кутузова к Беннигсену было известно и решение старика по этому вопросу предчувствовалось. Кутузов между тем молчал.

Тут на другой стороне Колочи кто-то заметил кавалькаду всадников. «Не Наполеон ли?!» – разом мелькнуло во многих головах. Штабные офицеры уставили свои зрительные трубки на другой берег, ища предводителя французов, который, по рассказам, должен был быть одет в серую шинель и ехать на белом арабском скакуне.

– Вон он, вон он! Ах ты ж! – вскричал кто-то из адъютантов помоложе. – Тоже ведь примеривается...

Генералы засмеялись. Усмехнулся и Кутузов. Багратион, нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу, подошёл к Кутузову, сказал, что дела требуют его к армии и уехал. Кутузов, посидев ещё немного, велел подать лошадь. Вслед за ним все вскочили на коней и вся кавалькада, спустившись с кургана, выехала в интервал между 6-м и 7-м корпусами, чьи командиры, Дохтуров и Раевский, были тут же. Тут Кутузов выехал вперёд и что-то было неуловимое, от чего последовал за ним только Толь. Четверть часа они разговаривали один на один. В эти минуты и была решена судьба тысяч людей, ибо многими потом признавалось, что прими Кутузов сторону Беннигсена, бой за батарею Раевского, а может, и вся Бородинская битва, могли бы сложиться совсем иначе.

После разговора с Кутузовым Толь подозвал к себе Ивана Липранди, обер-квартирмейстера 6-го корпуса, и велел ему заняться возведением на кургане люнета. Липранди понял, что в споре победил Толь. «Поговорили четверть часа – а лишних тысяч десять человек помрёт...» – подумал 22-летний Липранди, будто и не ему завтра предстояло оборонять этот курган, и, может быть, помереть здесь с остальными...

## Глава четвертая

Около двух часов пополудни по линии русских войск, от фланга до фланга повезли укреплённую на зарядном ящике икону Смоленской Божьей Матери, вынесенную из горевшего города. (Перед тем, как вынести икону из Смоленска, отслужили молебен, в конце которого священник сказал: «Пребысть же Мириам с нею яко три месяцы и возвратися в дом свой!» Удивительным образом икона вернулась в Смоленск ровно через три месяца, вместе с русской армией).

В центре позиции навстречу шествию вышел со свитой князь Кутузов. Он подошёл к благословию, а потом, тяжело встав на колено, поцеловал край огромной, в золоте и серебре, иконы и глянул вверх. С доски смотрели мимо него грустные глаза Богоматери, вдруг показавшейся Кутузову чем-то похожей на его жену – такой он видел её после Аустерлица, где погиб их зять Фёдор Тизенгаузен, любимый ими как сын. «Видно, всегда были такие лица на Руси...» – подумал Кутузов, знавший, что смоленской иконе 800 лет. Жена изменяла ему, а он ей – так жили тогда все. «Нету праведников, да ими и вообще быть нелегко... – думал Кутузов. – Да наверное и не требует этого Господь, а только наступает день, когда ты должен сделать то, что для чего Он прислал тебя на эту землю. Вот в этот день и не прячься. Вот он, мой день, пришёл. Только бы Он не покинул меня в этот день».

Младенец Иисус имел на иконе взрослое лицо. Кутузов вдруг понял, для чего живший невероятно давно мастер написал Иисуса именно так, старичком – давая понять, что Он всё знал, ведал свою судьбу от рождения. Но как же жить с этим – зная, что всё кончится на кресте? Такие мысли были у Кутузова неспроста – он понимал, что и нынешнее сражение будет его крестом, и если потом не распнут его – так только чудом. Он ещё по дороге к армии писал во все концы, требуя от всех командиров явиться с их отрядами к нему. Но и отрядов было немного, и самые крупные – армии Торماسова и Чичагова – были далеко, и Кутузов сомневался, что они придут (так и вышло – Тормасов и Чичагов, понимая, что к Москве им идти месяц, остались на месте, удерживая стоявших против них Ренье и Шварценберга). Битва будет со дня на день – это Кутузов понимал

и решил это принять. Но что после битвы? На то, что французы повернут от Бородина вспять и будут бежать до Немана, он не надеялся – слишком далеко всё зашло, чтобы вот так просто разрешиться. Надо навалиться на французов, но – кем?

Хотелось верить в чудеса. В Москве какой-то немец уже несколько месяцев строил неведомый аппарат, который, божился, полетит куда хочешь. С этого аппарата предполагалось бросать на головы неприятеля зажигательные снаряды и палить из ружей. 22 августа Кутузов интереса ради спросил Ростопчина в письме – готов ли аппарат и можно ли им воспользоваться? Ростопчин пока не ответил, да это уже не больно-то и интересовало Кутузова: вера в технические чудеса была от минутной слабости.

Епископ вдруг сказал, что эта икона спасла Смоленск от нашествия татар в незапамятные времена. «Но нынче-то не помогла...» – тяжело подумал Кутузов и тут же испуганно себя оборвал – а ну как прочитает Господь эти мысли? «Прости, Господи, прости, Господи, дурака меня старого»... – забормотал он, с натугой кланяясь ещё ниже. Он понимал, что всё это – урок, и не только ему, а всем. Но в чем урок и каково верное решение? В школе можно подглядеть или списать, а тут – нет. Верно ли он остановился на Бородинском поле? Верно ли, сам от себя таясь, думает оставить Наполеону Москву? Натешится ли Наполеон Москвой, или пройдет мимо, как проходил мимо Берлина и Вены?

Он понимал, что в ближайшие дни состоится главное дело его жизни. Для чего берёт его Господь – для славы или позора? Позор уже был под Аустерлицем, так что по всему выходило – для славы. Но и об этом Кутузов боялся думать – а ну как услышит Господь да решит наказать за мысли дерзкие, за гордыню? «Ладно бы меня одного, но через меня и всю Россию накажет»... – думал Кутузов. Это была одна из тех мыслей, которые он старался гнать из своей головы, но они упорно лезли к нему.

Кутузов поднялся с колен и оглянулся. Солдаты, ополченцы, чины штаба – все ещё стояли на коленях, склонив головы. Даже лютеране, разнообразные немцы на русской службе, склонились перед иконой. Это была и их последняя битва, как Россия была их последней надеждой на победу над Наполеоном и освобождение их родины. У Куту-

зова запершило в носу. Никогда ещё судьбы мира не сходились так в одной точке. «Хотя, может и сходились – стоял же мир до нас тысячи лет и будет после нас. Не с нас началось, не нами и кончится»... – вдруг подумал Кутузов. Он надел свою бескозырку и тяжело пошёл к дроздам. Штаб его, гремя амуницией, подымался с колен.

После этого Кутузов приказал провезти вдоль линии захваченные накануне в Шевардинском бою три французские пушки. При этом читался кутузовский приказ по армиям: «Горячее дело, происходившее вчерашнего числа на левом фланге, кончилось к славе российского войска. Между прочим, кирасиры преимущественно отличились, причём взяты пленные и пять пушек». Выстроенные для встречи войска кричали «ура!». Каждый чувствовал, что душевное напряжение становится уже нестерпимым, и даже самые бывалые думали о том, как бы поскорее прошли эти часы – сколько их, семь, девять или, упаси Бог, двенадцать? – до первых французских выстрелов...



## Глава пятая

Наполеон в этот день встал рано (он вообще спал странно, порциями – просыпаясь среди ночи и работая, а потом снова ложась, чем изводил своих адъютантов, секретарей и слуг). На ночь его палатка была разбита на Шевардинском редуте. Хотя там наскоро, в темноте, «прибрались» – убрали мертвецов и засыпали землёй лужи крови, – всё же запах смерти был силён. Видимо, ради этого запаха Наполеон и велел расположиться здесь. Ему было холодно во дворцах и он всегда приказывал жарко натапливать печи (императрица Мария-Луиза не могла из-за этого спать в его спальне). Но здесь, на войне, он чувствовал себя прекрасно, хотя дни были уже холодные, а ночи – промозглые.

Выехав из Шевардина ближе к полудню, он проехал по всему полю – от левого фланга своей армии до правого. На левом фланге он выехал впереди итальянских войск и рассматривал в трубу окрестности занятого русскими села Бородино, долины рек Колоча и Война. (Тут его и увидела с кургана свита Кутузова). Район деревни Маслово совершен-

но не заинтересовал Наполеона – вот уж посмеялся бы он, узнай, как много русские там построили и сколько войск там держат, ожидая его. Точно так же не осматривал Наполеон Утицкого леса – он вообще не брал его в расчёт (так что корпус Тучкова, будь он на следующий день действительно расположен скрытно и пойдя французам в тыл и фланг, мог существенно повлиять на ситуацию). В трубу Наполеон видел какую-то деревню (это были Горки), перед которой русские строили фортификации. Возле Семёновского он разглядел два строящихся укрепления (третью флешь французы не увидели и она стала для них сюрпризом).

Уже во вторую рекогносцировку, предпринятую после пяти часов пополудни, Наполеон увидел, что русские поспешно возводят что-то на высоте у себя в центре – бывший при Наполеоне полковник Пеле-Клозо, отмечавший все расстановки войск и фортификации на нарисованных на скорую руку кроках, на всякий случай написал на карте «редут».

По всему выходило, что левый фланг русских слаб. Однако как Кутузов ждал от Наполеона подвоха, так и Наполеон ждал от Кутузова того же. Что кроется за этой показной слабостью позиций Багратиона? Наполеон не мог и допустить в мыслях, что отчасти это – итог личной неприязни между Багратионом и Кутузовым, а главное же – результат отношения Кутузова к ситуации, формулировавшегося словами: «Будь что будет»...

Во время вечерней рекогносцировки один из генералов предложил Наполеону сегодня же вечером захватить Бородино – чтобы на завтра была фора. Наполеон понимал, что это и правда могло быть полезно: из Бородина был виден тыл спешно возводимого сейчас русскими укрепления на кургане. Но Наполеон боялся спугнуть Кутузова – а, потеряв Бородино вечером, он мог уйти ночью.

Между тем, Наполеон уже жалел, что не атаковал русских с утра – всё равно ведь было бы то же самое, что будет завтра. Не напрасно ли он промедлил, не уйдут ли русские ночью? – думал Наполеон, и, стараясь убежать от этих мыслей, пытался занять голову чем-то другим.

Очень кстати приехал префект императорского двора маркиз де Боссе. Наполеона де Боссе радовал не сам по себе, а потому, что привёз от императрицы подарок – портрет маленького сына императора, Римского короля. Рим-

ский король был изображён сидящим в колыбели и играющим мячиком.

– Моя добрая Луиза! Какое сердечное внимание! – размягчённо сказал Наполеон, глядя на портрет сына.

В этот момент Наполеон вдруг пожалел, что он так далеко от сына и от жены. Он вспомнил о Марии-Луизе то, от чего сразу стало горячо. Она досталась ему невинной, но организм её был устроен так, что одного прикосновения Наполеона хватало, чтобы австрийская принцесса впала в сладкое беспамятство. Его руки имели власть над её телом – малейших прикосновений достаточно было, чтобы глаза Марии-Луизы начинали туманиться, а дыхание прерывалось. На других женщин Наполеон не действовал так, и понимал, что найти такую женщину – редкая удача. «Что я здесь делаю?» – подумал он. Не всерьёз, а так, *в шутку*. Но подумал. Да, это всё было прекрасно – война, завтрашняя битва, и то, что за ней наверняка последует – триумф, мирный договор, новые выгоды для Франции и слава для него, Наполеона. «Но разве мало этого у меня уже было? – вдруг подумал он. – Если в стакан вина добавить ещё каплю, станет ли он полнее?».

Ещё при Аустерлице Наполеон сказал, что для войны есть свой возраст и добавил: «Меня хватит ещё на год-два, а потом придётся кончить и мне». После этого он разгромил Пруссию, Россию, прошёлся огнем и мечом по Испании, преподал при Ваграме страшный урок Австрии. Он говорил себе, что сам уже давно готов к миру, но каждый раз его принуждают к войне. Отчасти это была правда – Наполеон и его противники давно ходили по заколдованному кругу. Однако победа над Россией, надеялся Наполеон, позволит его разорвать: после неё можно забросить войну, как ржавую шпагу, и жить, приучая и себя, и других, к миру. «Привыкну ли? – спросил себя Наполеон. – Привыкну, конечно привыкну»...

Вслед за де Боссе Наполеону представили капитана Фавье с дурными вестями из Испании, где Сульт был разгромлен Веллингтоном. Наполеон, впрочем, ещё в Гжатске узнал, что испанские дела плохи и сейчас, грея в себе ощущение счастья от будущей битвы и скорого возвращения домой, к сыну, он даже не выглядел расстроенным. «Англичане победили в Испании! – думал он. – Ну и что? Это то же самое, как мои победы в Египте – ни для кого и ни для чего»... Но, понятно, вслух он этого не сказал.

Ничто не могло нарушить его хорошее настроение. Он приказал выставить портрет сына перед палаткой – чтобы гвардия могла так же любоваться на дитя великого человека – и некоторое время стоял тут же, слушая, что говорят его «ворчуны».

– Будем надеяться, что он пойдёт по стопам отца! – сказал один сержант.

– А покамест пожелаем ему усов! – продолжил второй и оба захохотали. С ними засмеялся и Наполеон. Он дал гвардейцам по наполеондору и велел выпить за счастье Римского короля.

«Может, и не слава главное в жизни, а вот он, мой сын? – думал он. – Потому что не будет сына – кому я передам мою империю? С другой стороны: не будет славы – нечего и передавать. Кто бы я был без моей славы? И где бы я сейчас был?».

Он вспомнил ответ Талейрана: «Я был бы епископом», и подумал: «А я был бы самое большее капитаном. И если для исполнения мечты необходимо перевернуть весь мир, значит, надо его перевернуть!»..



## Глава шестая

Александр Щербинин, один из квартирмейстеров, ещё утром решил, что надо проехать по полю несколько раз из конца в конец. «Мало ли куда пошлют, – подумал Щербинин. – Под огнём-то дорогу ни у кого не спросишь»...

Он проехал поле от фланга до фланга и от деревни Псарёво, бывшей ещё дальше Татарок, до батареи Раевского. Через какое-то время поле, наконец, уложилось у него в голове и он мог мысленно окинуть взглядом любой его угол. Между тем, времени до темноты и сна ещё оставалось немало. «Как тянется день... – подумал Щербинин. – Да и понятно, почему: завтра бой, не по себе». Этим «не по себе» он заменил слово «страшно», которого не могло быть у русского офицера в лексиконе даже наедине с собой. Завтрашняя битва должна была стать первым большим сражением для Щербинина. От этого, кроме «не по себе», было ему и любопытно – как это бывает, когда тысячные массы

войск идут друг на друга, когда стреляют многие сотни пушек? «Завтра всё узнаю...» – подумал он, пытаясь вообразить себе стрельбу тысячи орудий. До этого он только в Витебске был в бою, но там была арьергардная схватка. «Ну может сто пушек было на поле, а и то едва не оглох»...

Вечером Щербинин ехал в сторону Семёновского – решил посмотреть, много ли успели построить на флешах, после чего намеревался ехать уже в Татарки – очиститься перед боем да спать. Но тут догнала его попутная коляска, в которой Щербинин увидел Беннигсена и генерала Ожаровского.

– Щербинин! Поезжайте за нами! – прокричал Беннигсен на ходу. Щербинин приложил два пальца к киверу и поехал следом за коляской.

«Чего это Беннигсен такой хмурый?» – подумал Щербинин, не знавший о споре Беннигсена и Толя на кургане.

После того, как Кутузов подозвал к себе Толя, Беннигсен понял, чью идею предпочтёт этот русский старик. Ледяное спокойствие Беннигсена не позволяло ему показывать возмущение, но сдерживался он в этот момент с трудом. «Кутузову не нужны в советчиках ни я, ни Багратион, ни Барклай, никто из тех, кто потом, в случае успеха, мог бы оспорить лавры. Вот Толь – да, Толь будет благодарен за ту иллюзию власти, которую даёт ему Кутузов... Именем Кутузова Толь распоряжается всей армией, это счастливейшие дни его жизни...» – угрюмо думал Беннигсен, уже четыре часа ездивший по полю чтобы просто занять себя и утомить. (Надо было бы тогда ехать верхом, но от сегодняшних холода и сырости, или к завтрашней перемене погоды разболелась одна из его старых ран). Впрочем, была в этой езде по полю и служба: взглядом старого служаки, он смотрел, в каком состоянии полки, какие они занимают места.

Щербинин не знал, куда велено ехать кучеру и мог только гадать. «Это куда же они правят? – проверял он сам себя. – К Тучкову что ли? Так и есть – к Тучкову»...

– Что это, кто так поставил войска?! – проговорил вдруг довольно громко Беннигсен. 3-й корпус стоял едва ли не в чистом поле, без укреплений и естественных укрытий, и даже Утицкий курган, который мог бы быть ему опорным пунктом, имел далеко позади себя.

Щербинин знал о том, что Кутузов разместил 3-й кор-

пус возле Утицы скрытно, чтобы по истощении неприятельских сил пустить ему в тыл свежее войско. Правда, сегодня Щербинин у Утицы уже был и удивился тому, что корпус вовсе не стоит скрытно – негде ему было возле Утицы стоять «скрытно»: вместо леса был кустарник да и тот жидкий.

То же самое, видимо, удивило и Беннигсена, когда он добрался до корпуса Тучкова. Сам Тучков отыскался вскоре на обочине Старой Смоленской дороги.

– Полагаю, Николай Алексеевич, что вам следует переместить войска ближе к линиям Багратиона... – сказал Беннигсен, выговаривая слова с акцентом. – Здесь ваш корпус будет бесполезен...

– Но если мы, Леонтий Леонтьевич, перейдем на указанное вами место, то окажемся на склоне горы, внизу от неприятеля, и сами напросимся на истребление... – отвечал Тучков.

«Почему он не говорит, что поставлен здесь в засаде? – подумал Щербинин. – Он что же – сам про это не знает?!»..

– Николай Алексеевич, вы неправильно поняли меня, – сказал Беннигсен, холодно глядя на Тучкова своими странными глазами. – То, что я говорил о перемещении вашего корпуса, это не совет, а приказ мой, как начальника Главного штаба соединённых армий...

Тучков вдруг подумал: «А вот и на императора Павла поди так же смотрел, а потом убил»... В 1807 году Беннигсен был его командиром, и с тех пор Тучков с почтением относился к этому генералу – всё же при Прейсиш-Эйлау непобедимый Наполеон впервые не победил. Но про царевубийство забыть не мог.

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! – отчеканил он, подчёркивая эту фразу отдаванием чести. Этим Тучков хотел показать, что с решением Беннигсена не согласен.

«Видать, отменил Кутузов засаду... – подумал Щербинин. – А жаль – то-то французы бы завтра удивились! А то, может, и Беннигсен не знает про это? Но как же – вот я, свитский поручик, знаю, а он, начальник Главного штаба – нет? Не может такого быть»..

Убедившись, что 3-й корпус пришёл в движение, Беннигсен велел кучеру погонять в Горки, в Главный штаб. Щербинин, решив, что уже достаточно покружил по полю,

поехал следом, размышляя, почему Кутузов вдруг отказался от идеи обхода. Какое-то сомнение точило Щербинина. Только доехав до Главной квартиры, и увидев, что Беннигсен вошёл в избу, занимаемую Кутузовым, Щербинин перестал сомневаться – да, и впрямь отменили обход.

Не мог же Щербинин предположить, что Кутузов не поставил в известность о своей задумке ни Тучкова, ни Беннигсена, да и вообще почти никого, кроме Толя, всё по той же, приобретённой после злосчастной шутки над Румянцевым, привычке многое, если не всё, держать в себе...

## Глава седьмая

Строить флешы перед деревней Семёновское решено было ещё вечером 23 августа, но земля оказалась с большими камнями, для возведения бруствера приходилось собирать вокруг пахотную землю, так что работы шли медленно.

Флешы были устроены хитро, с умыслом: две впереди, а одна позади них, на высоте, так, что из неё можно было расстреливать всё внутри первых двух укреплений в случае их захвата неприятелем (эту-то флешь не видел Наполеон при объезде поля, и 26 августа она доставила французам немало неприятностей).

Для строительства и разных прочих нужд разобрали деревню Семёновское, из домов которой уцелели лишь два – один из них занимал Багратион, другой – его дежурный генерал Сергей Иванович Маевский, ещё молодой (33 лет) человек, круглоголовый, лысоватый, всегда чрезвычайно весёлый по природе своей, а в эти дни ещё и по причине приближающегося сражения. На избу его то и дело покушались сапёры, но Маевский поставил возле неё солдата, которому велел говорить, что изба занята под дежурство армии. Это подействовало.

Маевский был во 2-й армии генерал-аудитор (прокурор) и Багратион поначалу относился к нему холодно. Но в перестрелке на подступах к Бородину он попросил Маевского доехать до стоявшей впереди кавалерии с тем, чтобы кто-нибудь из кавалеристов поскакал с приказом к передовым линиям стрелков, бывшим уже в сильном огне.

Маевский усмехнулся и сам поскакал к стрелкам. По возвращении его встречал уже другой Багратион. «Он обнял меня и обворожил новым обращением!» – с удовольствием рассказывал Маевский тем же вечером своим приятелям, и потом – всю жизнь.

Маевский был назначен дежурным генералом при Багратионе. Хотя должность была по сути канцелярская, но Маевский смотрел на неё иначе: он всюду вмешивался, всем руководил. Война чрезвычайно нравилась ему. «Что бы я делал, не будь сейчас войны и не будь я в армии? – думал он иногда. – Бил бы хлопнушкой мух в суде! Упаси Бог!»...

Война отнимала много сил, но и давала их ещё больше. Маевскому нравилось то, что почти каждый день он делал то, чего сам от себя ещё поутру ожидать не мог. Вот сейчас он был один из первых людей в армии Багратиона, а завтра должна была быть битва, которая, говорили между собой офицеры, как ни крути, а решала судьбу Европы.

«Чудны дела Твои, Господи, – думал Маевский, с лошади наблюдая за работами мужиков на флешах. – Получается, сделают эти мужики сейчас ров поглубже – и история мира будет другой?»... Метафизические размышления о роли случая захватили Сергея Ивановича неспроста: накануне, после Шевардинского боя, уже в темноте, Багратион послал его отыскать князя Голицына, командовавшего во 2-й армии кавалерией. Маевский поехал, ориентируясь на костры и окрики часовых: русские кричали «Слушай!», французы – «Виват!». Ориентиры оказались ненадёжные – солдат, к которому подъехал Маевский, оказался французом и выстрелил. Маевский успел дёрнуть коня за повод, тот отпрянул и пуля пролетела мимо, убив кого-то в ехавшей позади свите генерала Карла Левенштерна. Об этом и думал сейчас Маевский: «Вот не влево бы сделал я головой, а вправо – и пуля была бы моя, а он был бы жив. И разве спас меня Господь потому, что я лучше и жил праведнее? Или, может, чего-то хочет от меня Господь – не зря же пуля миновала меня, да и не в первый ведь раз»...

Маевский с утра думал, что могло бы значить его чудесное вчерашнее спасение, но ничего придумать не мог – больше никаких намеков от Господа Бога не было. В конце концов, он рассудил, что остаётся одно: честно исполнить свой долг – подгонять сейчас мужиков, чтобы ров был по-

глубже, а вал повыше, да выспаться, чтобы иметь силы на весь завтрашний день.

С утра по 2-й армии был разослан приказ Багратиона: «рекомендуется господам начальникам войск употребить все меры, чтобы завтра к свету люди поели каши, выпили по чарке вина и непременно были во всей готовности». Маевский сам раздавал адъютантам списки с приказа. «Вот по нему и буду действовать», – усмехнувшись, подумал он.

Издали он увидел подъезжающего со свитой Багратиона и поскакал навстречу.

– Представь, Маевский, сейчас князь Кутузов решал, укреплять ли ему курган перед позициями шестого и седьмого корпусов! – сердито воскликнул Багратион, которому явно хотелось выговориться. – У нас бой на носу, а их сиятельство ещё ничего не решил!

Маевский промолчал и про себя улыбнулся, вспомнив ходившую везде шутку про нос, в которой известный многим гусар и поэт Денис Давыдов, приехав к Багратиону, якобы говорит: «Ваше сиятельство, неприятель на носу!», а Багратион ему отвечает: «На чьём? Если на твоём, так это близко, а если на моём, так мы ещё успеем пообедать!»...

«Да, если битва на багратионовом носу, так мы крепость здесь построить успеем»... – подумал Маевский.

– И что же решили? – спросил он.

– Беннигсен говорил одно, Толь другое, Кутузов молчал, а я потом уехал... – сказал Багратион. – Нет сил. Канцелярия, а не армия. Немец Барклай был плох, а и сей гусь, названный князем и вождём, не лучше! Не знаю, что уж они там построят, завтра поглядим...

Они тронули лошадей и поехали к Семёновскому. Багратион, которому стало легче, взгляделся вдаль и вдруг спросил:

– Одну избу в Семёновском оставили для меня. А для кого же вторая?

– Осмелился я за собой удержать, – отвечал, улыбаясь, Маевский. Багратион захохотал.

– Да как же ты исхитрился?

– Отбил несколько атак, ваше сиятельство! – улыбаясь, ответил Маевский. – Поставил караульного и велел ему говорить, что это, мол, армейское дежурство, а слово «дежурство» есть магия и в войне, и в мире. Зато до утра у меня есть крыша над головой.



– Хитёр, хитёр... – крутя головой, сказал Багратион.

– Не заедем ли ко мне, ваше сиятельство, у меня прекрасный стол... – предложил Маевский.

– Ой ли? – усомнился Багратион. – Уж лучше моего?

– Оспаривать первенство не берусь, – деликатно начал Маевский, всегда думавший, что так, как он, на войне не умеет устраиваться никто, – но повар у меня преизрядный, а на сегодня решил я пустить в дело отличное констанское вино.

– А! Александрийский мускат! – проговорил Багратион. – Царское вино! Где же ты ухитрился его добыть?

– Так ещё при отъезде государя из армии в июле узнал, что часть погребка царёвы повара забыли... – отвечал Маевский. – Ну а я не забыл...

– Ишь ты... – мотнул головой Багратион, и улыбнулся. – Сладкое оно... Да и Наполеон, говорят, его любит, а я Наполеона – нет. Ну да поехали...

Маевский приказал вынести из «дежурства» стол. Откуда-то взялась и посуда – хрусталь, тоже как бы не забытый царёвой кухней. Хотя Маевский внутренне и беспокоился, видя размеры свиты Багратиона, но вина хватило на всех.

– За завтрашний день, господа! – сказал Багратион, поднимая свой бокал. – За победу русского оружия! Кому будет счастье – выпьет послезавтра с Маевским. А кому не будет счастья, тому будет слава...

Глаза князя сияли. Маевский всю свою долгую жизнь помнил это сияние, а александрийского муската с тех пор не пил больше никогда – перехватывало горло от слёз.



## Глава восьмая

– «**Н**одтвердить от меня во всех ротах, чтобы оне с позиций не снимались, пока неприятель не сядет верхом на пушки. Сказать командирам и всем господам офицерам, что, отважно держась на самом близком картечном выстреле, можно только достигнуть того, чтобы неприятелю не уступить ни шагу нашей позиции»...

Генерал Александр Кутайсов, начальник русской артиллерии, приостановил диктовку, давая адъютанту Николаю

Дивову записать сказанное. По обычаю войны потеря пушки была равна потере знамени, от этого артиллерия съезжала с позиций при первом призраке опасности. Кутайсов же знал, что самые действенные картечные выстрелы – те, что сделаны в упор. Он видел под Прейсиш-Эйлау лежащий рядами корпус Ожеро: корпус в метели вышел на русскую батарею в семьдесят с лишним пушек, и почти все из 18 тысяч человек были расстреляны несколькими залпами.

Своим приказом Кутайсов решил снять вину со своих артиллеристов. Он в общем-то понимал, что его приказ многим из них будет стоить жизни: последний залп, хоть и в упор сделан, выкашивает первые три-четыре ряда, но есть ведь ряды и за ними, а перезарядить уже не успеть. Но Кутайсов гнал от себя эти мысли – что же делать, сражение, кому-то ведь надо и помирать.

– «Артиллерия должна жертвовать собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесёт неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий». Потерю... Орудий...

Кутайсов диктовал медленно, но Дивов всё же не успевал, приходилось повторять. Тут Кутайсов подумал, что выходит нехорошо – орудия, получалось, важнее людей.

– Перепишите, Николай Андрианович, вот с этого места, от «ни шагу нашей позиции»: «Если за всем этим батарея была и взята, хотя можно почти поручиться в противном»... «почти поручиться в противном»... «в противном»..., «то она уже вполне искупила потерю орудий»... Так лучше?

– Да оно по-всякому хорошо, Александр Васильевич, – сказал Дивов, 20-летний подпоручик гвардейской артиллерии. – У меня сердце кровью обливалось, когда писал.

Кутайсов посмотрел на него и промолчал. Кутайсову было 28 лет. Он был сыном пленного турка, брাদобрёя при императоре Павле, сделавшего себе на этом карьеру. Кутайсов был мало похож на отца как внешне, так и внутренне: отец постоянно что-то против кого-то интриговал, а сын был человек чистый. У него весь день сегодня спокойно было на душе. Он всё пытался занять себя каким-нибудь делом – объехал на два раза всю артиллерию, отдавал всякие приказы, разговаривал, улыбался, шутил – и всё не находил себе места.

– Слушайте, Дивов, давно хотел вас спросить, – начал он, чтобы отвлечься. – Говорят, вы видели Наполеона...

– Так точно, ваше превосходительство! – отвечал Дивов. – В 1801 году наша семья была в Париже, и моя матушка Елизавета Петровна сдружилась с Жозефиной Богарнэ. Та пригласила матушку к себе как-то раз на завтрак. Матушка взяла и меня: посмотреть на красивую тётю, да ещё и первую даму Франции – Наполеон ведь был уже первый консул. Но меня, скажу правду, больше привлек смотр войск, который проходил прямо под окнами дворца. После смотра за стол к нам вышел Наполеон, спросил меня, понравились ли мне войска. Я сказал: «Да!». Он улыбнулся и предложил, раз так, вступить мне в ряды его армии.

– И что же вы? – спросил Кутайсов, с интересом глядя на Дивова.

– А я, хоть было мне девять лет, сказал ему: «Я русский и желаю служить только моему отечеству!» – ответил Дивов, не скрывая гордости за свой ответ. – А Наполеон мне и говорит: «Очень хорошо и правильно ты мыслишь. Оставайся всегда таким».

– Дааааааа. Какова история... – протянул Кутайсов, которого эта история всё же хоть немного заняла.

– Ну да... – проговорил Дивов. – Вот мы завтра и встретимся.

Тут его глаза опустились на лист бумаги, на котором уже высохли чернила. Он вдруг подумал, что это ведь и по нему приказ, и ему завтра стоять при орудии на позициях и не уходить ни при каких обстоятельствах «пока неприятель не сядет верхом на пушки». «А мы что же? – подумал Дивов. – В расчетах из оружия только тесаки и банники». Но говорить Кутайсову об этом не стал – Кутайсов всё знал и так. «Надо так надо, умирать так умирать...» – почти словами Кутайсова подумал Дивов. Впрочем, говорил он себе, и при Прейсиш-Эйлау отдавался такой приказ, артиллерия стреляла в упор, и этим-то и спаслась.

– Пусть приказ огласят по артиллерии, – сказал Кутайсов. – Вызовите ординарцев и отошлите в роты.

У него опять стало беспокойно на душе. Забылся и Наполеон, да и Дивов забылся бы, если бы не шумел стулом и не гремел сапогами.

Кутайсов понимал, что такое настроение – не к добру, но одновременно не хотел этому верить, говорил себе, что

всё пустяки и может быть это просто от осени. Между тем, надо было ещё занять себя на весь вечер, а потом постараться заснуть.

Он приказал подать коня и снова поехал вдоль линии войск, останавливаясь у артиллеристов. Возле строящихся флешей артиллеристы позвали его пить с ними чай. Он сидел на ковре, смотрел на чёрный обгорелый чайник и чувствовал, что странная, неизвестная ему ещё никогда прежде, тоска заполняет его до краёв.

«Господи, что со мной? – подумал Кутайсов. – Что это, Господи?».

По дороге назад он встретил Ермолова. 35-летний начальник штаба 1-й армии Алексей Ермолов был большой медвежатый человек с тяжёлым взглядом. С самого детства Ермолов считал, что предназначен для великих дел, а судьба Наполеона только раззадоривала его. Приятным человеком Ермолов не был – сам всех вокруг подозревал в интригах, от того и себя считал вправе интриговать. Он всё ждал, что вот сейчас судьба вознесёт его до небес – так с этим ожиданием и прожил жизнь. Но к Кутайсову он почему-то прикипел сердцем. Они познакомились ещё в бою под Прейсш-Эйлау, отстреливаясь от французов из пушек картечью. Кутайсову за это дали потом Георгиевский крест, причём сразу третьей степени, а Ермолову орден пониже – святого Владимира. Ермолов, считавший, что батареей командовал именно он, обиделся, с ним и за него обиделась на Кутайсова вся русская артиллерия. Но потом, однако, сердца размякли (да Ермолов получил через четыре месяца такого же Георгия), и все сдружились: и Кутайсов с Ермоловым, и Кутайсов с артиллеристами, не чаявшими сейчас в нём души.

Ермолов заметил, что Кутайсов грустит и подумал, что надо завязать какой-нибудь разговор, только совсем не знал, о чем этот разговор должен быть.

– Ты завтра где будешь, Александр? – спросил Ермолов.  
– Или как и в Смоленске – «я начальник артиллерии и моё место везде»?

Ермолов упоминал ставший известным в армии случай, когда Кутайсов в Смоленске останавливал отступающие от Никольских ворот войска. При этом какой-то генерал приехал туда же и стал кричать: «Кто здесь мешается не в своё дело?», на что Кутайсов и ответил ему фразой про то, что

он – Кутайсов, начальник артиллерии и его место – везде. Крикливый генерал оказался Неверовским – так они и познакомились.

Кутайсов усмехнулся и пожал плечами.

– Должно быть остановлюсь на командном пункте Кутузова. Люди же должны знать, где меня искать... – сказал он. – К тому же оттуда хороший обзор.

– Как твоя рана? – спросил Ермолов (Кутайсов ещё в Витебске был ранен в правое бедро). Кутайсов поморщился – от воспоминания о том, как лейб-медик Яков Виллие доставал пулю из ноги, его передёргивало до сих пор.

– Зажила, я уж и забыл.

– Были сейчас с Кутузовым на кургане перед корпусом Раевского, – начал Ермолов. – И представь, мы смотрим на французский берег, а с того берега Наполеон смотрит на нас! И я его разглядел немного в трубку!

Кутайсов с улыбкой посмотрел на товарища – ему давно была известна ревность Ермолова к Наполеону, к его успеху и славе.

– А что тебе Наполеон? – спросил Кутайсов с потаённой, только в глазах, усмешкой.

– За Наполеоном и меня не видно! – с горечью воскликнул Ермолов, и Кутайсов понял, что его товарищ сказал правду, давно точившую его сердце. – Без него и про меня писали бы в европейских газетах. А так – Наполеон занял в истории все места, а нам даже галерки не осталось.

– А без газет и истории никак? – спросил Кутайсов, удивляясь сам себе – никогда всерьёз не интересовали его эти вопросы, а сейчас вроде бы заинтересовался.

– А для чего ж тогда жить? – удивился Ермолов. – Я с 14 лет на войне, в 19 лет подполковник – и неужто ради того, чтобы на старости лет вернуться снова в отцовское имение и кормиться со 150 душ? Слава – вот ради чего я живу. И эту славу то и дело у меня кто-нибудь похищает! А Наполеон – больше всех...

Кутайсов усмехнулся – не так давно и его Ермолов считал похитителем своей славы, да потом объяснилось.

– Так ведь как раз Наполеон даёт нам настоящую славу, даже когда нас бьёт... – проговорил Кутайсов. – Без Наполеона воевала бы Россия с нами, с турками, как за сто лет до нас воевала и как ещё сотни лет потом будет воевать. Так в деревнях мужики-соседи дерутся по субботам, что-



бы кулаки почесать. А Наполеон – такой неприятель, что и внукам не стыдно будет рассказывать.

Тут Кутайсов подумал, что до внуков надо ещё дожить и снова на душе стало смутно. Ермолов украдкой глянул на товарища – его вид не нравился ему сегодня. «И разговор таких он никогда не затевал...» – подумал Ермолов.

– Когда я был в Европе, видел там в европейских музеях картины на библейские сюжеты... – задумчиво заговорил Кутайсов (как раз перед войной ездил он в Париж и в Вену учиться артиллерийскому делу). – Был в древние времена богатырь Голиаф, почти в два обычных роста, невероятной силы, в доспехах из золота и серебра, один целого войска стоил. Никто не мог его победить. Но однажды вышел против него простой пастух, кинул камень из пращи, попал прямо в лоб и убил!

– Очень артиллерийская легенда! – вставил Ермолов, с интересом слушавший товарища (Библии, как и многие в русской армии, он не знал – русского перевода не было, а по-французски читать было тяжело). – Один верный выстрел решает всё!

Оба засмеялись, но потом посерьёзтели.

– Вот Наполеон – это Голиаф. А мы все – Давиды, мечтаем поразить его и этим прославиться... – сказал Кутайсов. – Раз уж в силе и числе подвигов нам его не догнать, то хотя бы навалиться толпой и задавить. Десять на одного – это разве геройство, подвиг?

– А кто ж его звал в Россию?! – возразил Ермолов, которому слова Кутайсова про десять на одного не понравились. – Ходил бы по Европе, мы бы смотрели на это из партера. Он сам ведь к нам пришёл. Это мы в Европе танцевали с ним менуэты, а тут, в России, мы в полном праве встретить его по-своему...

– Так не сам ли Наполеон себя победит? – усмехнувшись, спросил Кутайсов. – Он ведь делает всё, чтобы быть побеждённым. Вот к нам пришёл, хотя мог бы спокойно жить в Европе.

«Что ни говори, а не русский Сашка человек! – с неудовольствием подумал Ермолов, нередко вспоминая про турецкое происхождение товарища. – Развёл философию»...

– В чем-то ты прав, но хоть Наполеон и сделал немало глупостей, а без нас его всё равно никто не победит! –

твёрдо сказал Ермолов и почувствовал, что нашёл верную мысль. – Если мы все расступимся, так пройдёт Наполеон Россию насквозь и жив отстанется. А если каждый запустит ему в лоб камень из пращи, так тут и кончится его путь. Вот тот пастух, который убил великана – он сам был орудие судьбы. И мы все сейчас – орудие судьбы. Как Наполеон меняет наши судьбы, так и мы можем изменить его судьбу.

– Эх ты замахнулся... – снова улыбнулся Кутайсов. – Ты вот его едва видел в трубку, а уже собираешься изменить судьбу.

– Да вот, собираюсь! – запальчиво сказал Ермолов. Он собирался добавить ещё что-нибудь, но глянул на Кутайсова и осёкся – Кутайсов вдруг как-то ушёл в себя, глаза его потухли. Ермолов понял, что товарищу не до него, да и не до Наполеона.

Они медленно ехали по полю, среди сумерек и густых запахов.

«Странно, почти не пахнет лесом и полем, – подумал Кутайсов. – Пахнет только армией и войной».

Вокруг и правда было так много костров и так много от них дыма, что лесных запахов не осталось совсем. Природа напоминала о себе лишь ветром, да берёзами, чьи ветки шевелились на сильном ветру, как волны. Да ещё и от осеннего холода не было запахов – выстыло всё.

Ермолов, хотя и не умел беспокоиться ни о ком, кроме себя, встревожился. Да, были времена, когда он на Кутайсова имел обиду, но уже давно Ермолов держался с Кутайсовым как наставник, а Кутайсов с ним – как восторженный ученик. Ермолов понимал, что Кутайсов ему просто подыгрывает, и Кутайсов понимал, что Ермолов это понимает. От этого взаимоотношения были ещё теплее.

«Вот ревновал меня Ермолов к моему Георгию третьей степени, – подумал Кутайсов. – А завтра прилетит кому-нибудь из нас пуля в лоб – и что мёртвому с того Георгия?»... Он даже в мыслях избегал думать, что пуля может прилететь ему.

Генералы доехали до кутайсовской избы, вошли, Кутайсов приказал собирать на стол. (Внутренности избы, вообще очень грязные, были украшены коврами и оружием в меру понимания о красоте кутайсовских слуг).

– Что это ты читаешь? – спросил Ермолов, увидел при свете свечи на постели Кутайсова какую-то книгу.

– Это «Фингал», – ответил Кутайсов. Ермолов быстро глянул на него и промолчал. «Фингал» была модная тогда трагедия Владислава Озерова, который, правда, как раз перед 12-м годом сошёл с ума, так что Ермолов относился к «Фингалу» и другим его пьесам с опаской – не заразно ли? Ермолов считал Фингала и отца его Оссиана такой же выдумкой, как гомеровский Одиссей, и потому не понимал, как люди могут воспринимать это всерьёз. К тому же, поэмы о Фингале, его многочисленных родственниках, друзьях и врагах, всегда кончались плохо – умирали все, кроме тех, кто требовался для продолжения. «Зачем он это читает, да ещё на войне – мало ему смерти вокруг?» – подумал Ермолов.

(Оссианические поэмы, впрочем, почитались по обе стороны войны – есть картина французского художника Луи Жироде «Оссиан приветствует наполеоновских воинов, погибших на поле брани», где Оссиан вместе с другими своими товарищами гостеприимно встречает наполеоновских солдат в загробном мире. Картина давала понять, что и после смерти у тех, кто погиб за императора, всё будет хорошо – для того и писалась. Бога и священников из французской армии изгнали ещё во времена Республики, а вот надежду на загробную жизнь даже Наполеон отнять у человека не посмел).

– Насколько я знаю, в этой книжке все умирают? – сказал Ермолов, стараясь, чтобы это звучало весело. – Надо ли читать такое на войне – здесь смерти и так достаточно...

– Да я просто занимаю себя... – отвечал Кутайсов. Ему вдруг пришла в голову мысль. Он загадал «Тридцатая страница, десятая строка», взял книжку, открыл, отсчитал и прочитал, холодея: «Неволею грущу и слёзы проливаю. Предчувство ль томное мне некия беды»... Он быстро дочитал до конца колонки, но нет – про смерть не было ничего. Кутайсов с облегчением перевёл дыхание.

Ермолов с тревогой наблюдал за товарищем.

– Желал бы я знать, кто из нас завтра останется в живых... – медленно сказал Кутайсов. Мороз прошёл у Ермолова по коже.

– Что с тобой? – спросил он наконец.

– Ты знаешь... – отвечал, помолчав, Кутайсов. – Смешно.



Вернее, совсем не смешно – мне кажется, что меня завтра убьют.

– Брось, – тут же сказал Ермолов, и обрадовался, что сумел сказать это сразу, без страшной в этом случае паузы. – Брось. Всем кажется. Но мы вот были с тобой при Прейсиш-Эйлау, а живы. А ведь помнишь, какой это был бой! И не мы одни живы – тысячи людей. Не всех убивают.

– Но ведь кого-то убивают? – промолвил Кутайсов, взглядывая вдруг на Ермолова в упор своими тёмными глазами. Наступила долгая тишина. У Ермолова вдруг пересохло в горле. Оба понимали, что надо заговорить о чём-то другом.

– Вот что, мы завтра будем держаться вместе. Ты меня будешь удерживать от глупостей, а я тебя! – кашлянув, сказал Ермолов.

– Но как же тогда мы совершим наши подвиги? – улыбнувшись, важно сказал Кутайсов и засмеялся. Секундой позже с облегчением засмеялся и Ермолов...



## Часть третья

### Глава первая



Наполеон плохо спал эту ночь. Около полуночи он заставил себя лечь, но через какое-то время в «передней» (шатёр Наполеона всегда делился на три части, одна из которых была спальней, другая – кабинетом, а третья предназначалась для адъютантов и дежурных офицеров) он услышал приглушённые голоса, обсуждавшие то, что костров в русском лагере вроде бы стало меньше и даже слышны барабаны.

Наполеон вскочил и выбежал в «переднюю».

– Говорите, говорите, что вы шепчетесь! – прокричал он. Один из адъютантов рассказал: кажется, русские уходят.

– Это невозможно! – закричал Наполеон. Камердинер Констан понял, что сейчас его господин неминуемо победит наружу, в ночные осенние холод и сырость.

– Сир, оденьтесь... – жалобно загнусил Констан, но Наполеон как был, в ночной рубахе, только завернувшись в плащ, выбежал из палатки. Следом выбежал и Констан, прихватив ещё пару плащей: один он бросил на землю и за руку перетянул на него императора, другой попытался набросить ему на плечи.

Наполеон неотрывно смотрел в сторону русского лагеря. «Будто и правда огонь стало меньше? – спрашивал он себя. – Или мне кажется?».

– Констан, скажи ты, огней стало меньше? – прокричал он.  
– Думаю, их столько же, сир, – отвечал Констан.  
– Но если они и правда решили уйти, то где же кончится эта война?! – простонал Наполеон. Он потоптался ещё немного и внезапно его пробрал озноб.  
– Сир, вы замёрзли... – проговорил Констан. – Пойдёмте в шатёр, вам нужно согреться и спать.

Наполеон размышлял – не броситься ли на русских прямо сейчас, как он бросился на австрийцев при Риволи? Впрочем, ведь и при Риволи он победил лишь потому, что утром пришли со своими отрядами Массена и Мюрат. И главное, в чём он не хотел признаваться даже самому себе – тогда он был на шестнадцать лет моложе. Сейчас он не чувствовал в себе тех сил, которые заставляли его тогда командовать: «Вперёд!».

– Всю правду мы узнаем только утром... – сказал угрюмо Наполеон. После этого он вернулся в шатёр, и улегся на свою узкую железную койку.

Ещё накануне вечером были розданы все распоряжения и написаны основные приказы.

Основную массу войск Наполеон решил сосредоточить против русского центра и левого фланга. Чтобы избежать каких-нибудь неожиданностей от русских со стороны Бородин, Наполеон приказал деревню с рассветом захватить, и хорошо бы вместе с ней завладеть переправой через Колочу на русский берег – тогда русские весь день будут бояться атаки отсюда. А нет – так нет: Наполеон полагал, что Колоча защищает его от неприятностей не меньше, чем русских, если не больше (так оно и было – линии русских в начале боя были растянуты больше чем на восемь километров, и до самого конца сражения Кутузов держал на своем крайнем правом фланге войска, Наполеон же сконцентрировал силы в промежутке между Бородиным и Шевардиным).

Следом за Бородином надлежало атаковать Семёновское: с захватом этой позиции французы выходили неприятелю во фланг и могли простреливать всю русскую линию вдоль из пушек с господствующих высот. (Маневр этот был обычным в те времена). Далее, после обстрела русских линий, предполагалось атаковать центр. Так как после захвата Бородин сюрпризы от противника могли поступать только с его левого фланга, то корпусу Понятовского было приказано занять Старую Смоленскую дорогу и идти по

ней вперёд. Наполеон рассудил, что если русские готовят обход, то Понятовский наткнётся на них, если же Кутузов на обход не решился, то Понятовский сам обойдёт русских и выйдет им во фланг и тыл. Даву предлагал пустить вместе с Понятовским ещё и 1-й корпус, однако Наполеон, считавший, что русская армия превосходит французов числом, от этой идеи отказался. Обходы в условиях незнакомства с местностью были большой авантюрой, и отдавать для неё два корпуса казалось Наполеону неразумным.

Когда маршалы и генералы ушли, Наполеон приказал вызвать к себе секретаря Меневаля – Наполеон диктовал быстро, тут же забывая только что продиктованное, и только Меневаль поспевал за скоростью императорской мысли. Надо было сочинить воззвание к армии.

– «Короли, генералы и солдаты!» – начал Наполеон, не замечая комичности этой фразы. Да впрочем, у Наполеона и король был не титул, а должность. – Вот сражение, которого вы так желали! Победа зависит от вас».

Тут Наполеон хотел было напомнить о геройских победах, но подумал, что рано – в его нынешней армии было много тех, кто не был с ним ни при Аустерлице, ни при Фридланде, ни при Ваграме. Много – он иногда думал, что слишком много, – было тех, кто не был вообще нигде. Наполеон знал, зачем эти люди пошли за ним: только меньшую их часть влекло за собой желание славы, большинство же считало военный поход едва ли не коммерческим предприятием. То и дело в походе Наполеону попадались на глаза телеги с награбленным добром. Он видел даже, что мародёры, не скрываясь, устраивают свои колонны и свои обозы. А были ещё и дезертиры – в испанских полках их оказалось так много, что ещё в июле пойманных беглецов для урока расстреливали через одного. Наполеон даже наедине с собой боялся думать о том, можно ли с такой армией победить. Но ни о чём другом думать не мог. Многодневные его стоянки в Вильно, а потом в Витебске были вызваны именно этим – сомнениями, и боязнью признать себя самому себе в причинах сомнений.

Он вспомнил фразу из своего воззвания, написанного перед началом похода: «Рок влечёт за собой Россию, её судьбы должны свершиться!». Ещё тогда его укололо – а не его ли влечёт за собой рок и не его ли судьба должна свершиться на этих бескрайних полях? Тогда он отогнал эти мысли от себя.

Он вдруг увидел, что Меневаль удивлённо на него смотрит – император прервал диктовку и задумался, такое было едва ли не впервые, обычно формулировки высказывали из него с такой скоростью, что удивлялся и сам Наполеон – когда же он это придумал? Наполеон спохватился:

– Что там у нас? «Победа зависит от вас». Так... Пишите, Меневаль: «Она необходима для нас – она доставит нам всё нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в отечество!» – проговорил Наполеон, с удовольствием думая, что, кажется, нашёл нужные мысли и слова. Да, именно так – квартиры и возвращение одним, а слава – другим.

– «Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридлянде, Витебске, Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвой!»

На последних словах голос императора гремел так, что его слышал караул, стоявший неподалеку.

Меневаль дописал.

– Немедленно отдайте переписчикам, но без моего приказа по войскам не читать... – распорядился Наполеон. Он думал, что русские ещё могут уйти, и тогда воззвание без сражения будет выглядеть смешно.

Он снова лёг, через какое-то время задремал, а может даже и уснул. Но в четыре часа утра он проснулся и понял, что болен. Он и в предыдущие дни был нездоров от осени – сырость и холод давали себя знать. Но тут его колотил озноб, а слабость была такова, что не хотелось вставать. «И это в день такой битвы! – подумал он. – Вот в каком состоянии вершатся судьбы мира»...

– Констан... – позвал он и удивился голосу – это был хрип, сипение, некоторые звуки не получились вовсе.

Констан вбежал. Оба подумали, что не стоило выходить ночью на холод и дождь в одном плаще. Но оба не сказали ничего.

– Констан... – Наполеон всё боролся с голосом, откашливался, пытаясь как-то настроить его на обычный звук. – Приготовь-ка мне пунш по солдатскому рецепту. Мне надо согреться. Только не крепкий – иначе как же я буду командовать...

Констан с тревогой смотрел на своего повелителя, которого любил и который был смыслом всей его жизни. Он



служил сначала у Евгения Богарнэ, который передал его своей матери Жозефине. Констан хоть и называл потом свою службу «полнейшим рабством», но всё же понимал, что о таком рабстве другие могут только мечтать. В 1800 году Наполеон взял его с собой в военный поход, закончившийся битвой при Маренго и вступлением Наполеона в Милан. Это был первый из множества исторических спектаклей, виденных Констаном из первого ряда. Нынешний спектакль уже давно утомил Констана, но при этом, видел Констан, он изрядно утомил и его хозяина. Констан, готовя пунш, всё же налил чуть больше рома, чем обычно, и чуть больше лимонного сока, чем всегда – он видел, что Наполеон простужен всерьёз.

Констан принес пунш в ту часть палатки, где у Наполеона был «кабинет». Император сидел в наброшенной на плечи собольей шубе, крытой зелёным бархатом.

– А, вот и ты... – просипел он, увидев слугу. Наполеон взял кружку и осторожно сделал первый глоток. Он почувствовал крепость напитка, но решил, что это ничего – надо было согреться. Чтобы испытать, есть ли от солдатского лекарства эффект, Наполеон заговорил.

– Констан, видишь эту шубу? – спросил он, подбородком указывая на своё одеяние. – Мне подарил её в Эрфурте император Александр. Это лучшие русские соболя! Знал бы Александр, где и как эта шуба мне пригодится!

Наполеон с удовольствием (голос звучал всё лучше и в голове прояснялось) засмеялся. (В этой шубе он потом, во время отступления, будет идти пешком во главе гвардии – неизвестно, казалась ли ему смешной *эта* шутка судьбы). Он глотнул ещё и с укоризной глянул на своего слугу.

– Констан! Это всё-таки чистый ром! Тебе кто-нибудь говорил, что в пунше должно быть что-то ещё?..

Голос звучал громко и весело. Наполеон успокоенно улыбнулся: «Всё в порядке, всё будет хорошо»...

## Глава вторая

Часы тихо заиграли музыку. Раевский открыл глаза. Он не спал, но и просто лежать с закрытыми глазами было хорошо. Теперь же надо было вставать, впереди был долгий день, и до вечера надо было ещё дожить...



Когда решено было строить на кургане в центре редут и перевести к нему 6-й и 7-й корпуса так, чтобы они примыкали к нему флангами, начальник штаба 6-го корпуса Монахтин выговорил у Кутузова оставить корпуса на месте, чтобы солдаты могли отдохнуть и сварить кашу – при переходе много времени ушло бы на обустройство нового места. Каша была сварена, роздана и съедена, в полках пробили отбой, а Раевскому всё не спалось. Вставать же надо было рано – чтобы до света занять новые места.

Как почти все генералы в те времена, Раевский был не стар – в 1812 году ему исполнился 41 год (на всю русскую армию было только два старика – Кутузов и Беннигсен, у французов же таких не было вовсе). Раевский знал, что Наполеон только двумя годами старше него и иногда изумлялся этому: как же так вышло, какой волшебной тропой дошёл Наполеон до нынешнего своего положения?!

Откуда-то Раевский слышал, что в 1788 году Наполеон, будучи ещё поручиком, просился в русскую армию воевать с турками, и прими его тогда Заборовский, они с Раевским могли бы служить вместе. Да ведь и были ещё в одних чинах! В России карьера Раевского считалась очень хорошей, но при оглядке на Европу можно было придти в тоскливое изумление: маршалы Наполеона все как один были богачи, да ещё и осыпаны наградами. Раевского же за бой под Салтановкой Багратион представил к ордену Александра Невского, а за Смоленск – к Георгию второй степени, но ничего из этого ещё не пришло, да Раевский и сомневался, что придёт (так и вышло – орден Александра Невского он получил за Бородино, да и то лишь в 1813 году, а Георгия второй степени – аж в 1814 году за Париж).

Не то, чтобы в орденах был смысл службы. Но без орденов его не было вовсе. Защищать Россию? Но со времён Карла XII никто на неё не нападал до самого 12-го года. Многие служили ради славы или говорили, что служат ради неё: вот, мол, будет чем оправдаться перед Господом! Раевский не слишком им верил – какая слава, в чём она да и ею ли надо оправдываться перед ликом Его? Раевский думал, что смысл жизни – в её продолжении. У него было семеро детей и то, что только двое из них были сыновьями иногда радовало его – он не хотел кормить войну, и без того она сына Раевскими.

При Измаиле погиб его брат, а отец Раевского умер

на турецкой войне от раны, когда его сын ещё не родился. Раевский думал иногда, что и его найдет пуля, но чаще думал, что пуля для него ещё не отлита. Почему-то берег его Господь – вот хоть под Салтановкой, когда картечный выстрел побил всех слева от него, и только в него не попало ни картечины. Потом, оставшись один, Раевский специально осмотрел мундир и панталоны – ни одной дырки. Он встал перед иконой на колени и долго молился. Вскоре после этого он отправил бывших при нем сыновей домой, хоть они и обижались.

Он и сейчас бы встал на колени, но не мог – накануне сел в обозную телегу и пропорол ногу торчавшим из соломы штыком. От этого он мог только стоять прямо да ещё недолго сидеть в седле.

Собравшись с силами, Раевский одним движением встал, берега раненую ногу.

– Эй, кто там! – крикнул он ординарцам. В дверь тут же заглянули – ординарцы не спали.

– Кто-нибудь помогите мне одеться, – сказал Раевский....

Выйдя из избы, он поёжился – было холодно и ветрено. Вокруг стоял шум от поднимающихся с ночлега войск. Раевский со своим штабом сели на лошадей и поехали вперёд. Курган и венчающий его редут выступали над светлеющей линией горизонта. Приближаясь к редуту, Раевский услышал шум – оказалось, рабочие ещё не ушли. Въехав на высоту, Раевский увидел при свете факелов и костров, что недобрые предчувствия оправдались – редут ещё далёк был от окончания. Подбежал какой-то пионерный (сапёрный) офицер и угадывая (в темноте лиц почти не было видно) скверное настроение начальства, заговорил о том, что присланные для работ ополченцы оказались из крестьян, вязать фашины и плести туры не умеют, да ещё и шанцевого инструмента привезли мало.

Тут подошел подполковник Густав Шульман 2-й, чья 26-я батарейная рота занимала редут.

– Из своих 12 пушек я могу поставить только десять – на большее число нет амбразур! – медленным скрипучим немецким голосом сказал Шульман. – Валы таковы, что через них кавалерия может заезжать на редут и съезжать с него. Да и эти, боюсь, при первых залпах осыплются и от этого укрепления не останется даже нынешней видимости...



Раевский не удивился – он и не ждал, что всё будет готово. «Даже маленькое укрепление не успели сделать, а что было бы, если бы решили строить то, что предлагал Беннигсен? – подумал он, вспомнив недавний спор Беннигсена и Толя. – Встречали бы сейчас французов на голом холме». Он наклонился к пионерному офицеру и сказал:

– Пусть ваши люди работают до самого начала, ибо каждый удар лопаты в таком бою значит больше, чем десять ударов штыком!

Съехав со штабом с высоты к линиям войск он сказал громче обычного, зная, что его слова ловят сейчас все вокруг:

– Император Наполеон видел днём простую открытую батарею, а войска его найдут крепость!

Штабные, только что бывшие с ним на батарее, посмотрели на него недоумённо – у них ведь тоже были глаза! – но тут же всё поняли: солдатам и строевым офицерам может и правда не нужно было бы знать, что ключевой пункт почти непригоден к обороне.

7-й корпус Раевского встал слева от кургана, 6-й корпус Дохтурова – справа. Солдатам разрешено было сесть. Некоторые закурили трубки. Осеннее утро всё не начиналось, и многие, если не все, думали, что хорошо бы оно не началось вовсе...



## Глава третья

Обитатели татариковского овина спали в эту ночь кое-как, проснулись рано и в кромешной темноте вылезли через маленькое окно наружу. Каждый при этом думал, доведётся ли вечером увидеть этот сарайчик вновь, но никто про это не сказал.

– Что ж, господа, давайте прощаться! – сказал Мейндорф. Он был назначен на этот день адъютантом во 2-й корпус к Багговуту. – Уж простите меня за всё, если чем обидел.

После этого он поклонился всем. Все молчали, от Мейндорфа, по снятии маски оказавшегося весёлым и жизнерадостным, этого никто не ожидал. Но все понимали, что именно это и надо было сделать в такое утро.

– И ты меня прости, Григорий, дай тебе Бог удачи! – проговорил Муравьёв Михайла, и обнялся с Мейндорфом. – И вы, братцы, простите меня, если уж что было не так.

Все – Муравьёвы, Траскин, Щербинин, Мейндорф – стали прощаться друг с другом, не стесняясь слёз. Щербинину особенно тяжело было смотреть на Муравьёвых – служба раскидала их: Николай должен был состоять при Главной квартире, Александр – при Барклае, Михайла – при Беннигсене. Щербинин не представлял, что творится сейчас у каждого из них в душе.

«А что делать – служба... – подумал он. – Будь здесь хоть отец родной, а не удержит никого при себе».

– Едемте, Николай... – сказал Щербинин, которому вместе с Муравьёвым 2-м надлежало состоять при Главной квартире. Они явились в Главную квартиру ещё в темноте и вместе со всем большим штабом выехали на высоту перед селом Горки, на которой Кутузов устроил свой командный пункт. (С высоты почти ничего не было видно – всё покрывал густой туман). Спустя некоторое время сюда же приехал и Барклай. Он был в полной парадной форме, со всеми наградами и при шпаге принца Виктора Ангальта, его первого командира. Многие знали, что эту шпагу, подаренную Барклаю умиравшим от ран принцем, Барклай надевал лишь в самых торжественных случаях. (В 1818 году, умирая, Барклай приказал похоронить его с этой шпагой). Кутузов про шпагу не знал ничего, зато он знал про рескрипт императора Александра, отставляющий Барклая с поста военного министра. «Молодец немец... – подумал Кутузов. – Держит форс»...

– Ваше высокопревосходительство, – обратился Барклай к Кутузову, – мною только что получено донесение от полковника лейб-гвардии Егерского полка Бистрома о том, что противу деревни Бородино замечено движение неприятеля. Я предлагаю Бородино пока не поздно оставить – владение этим пунктом нам ничего не даёт, а защита может стоить потерь.

– А я считаю, Бородино должно защищать! – вдруг высказался принц Александр Вюртембергский, приходившийся императору Александру дядей и состоявший в свите Главной квартиры неизвестно для чего. (Родственник и

похож был на государя – круглоголовый, лобастый). – Уже не до тонкостей и реверансов: кто где стоит, там и надо воевать!

Кутузов молчал. Барклай, подождав немного, понял, что и здесь Кутузов поступит как вчера на кургане в споре Беннигсена с Толем: помолчит, а потом поступит по-своему или вообще не поступит никак. «Зачем я приехал сюда вообще?!» – вдруг с отчаянием подумал Барклай, и сказал:

– Думаю, дело начнётся с минуты на минуту, а посему я должен быть со своей армией.

Тут же он поворотил коня и пустил его вскачь. Следом, так же резво, рванула за Барклаем его свита, из солидарности со своим начальником злобно сверкая на кутузовских штабных глазах.

Барклай не успел доехать до позиций своей армии, как в стороне Бородина раздался вдруг треск.

– Вот оно! – проскрипел зубами Барклай, и пришпорил коня. – Скорей! Скорей!

Его небольшая свита летела вперёд, словно в атаку. Оказавшись, наконец, на берегу Колочи, Барклай пытался рассмотреть, что делается в деревне.

– Левенштерн! – крикнул он своему адъютанту. – Скажите в деревню, скажите Бистрому – пусть он уходит из деревни и сожжёт за собой мост!

Левенштерн откозырял и пустил лошадь вскачь. Пули жужжали у него над головой, но того восторга, какой испытал он больше двадцати лет назад, когда двенадцатилетним мальчиком впервые услышал эти звуки (Левенштерн жил тогда недалеко от Ревеля и дядюшка взял юного племянника посмотреть морской бой между русскими и шведами, но зрители, сами того не желая, попали под обстрел) не было.

Левенштерн влетел в деревню. Увиденное обескуражило его – егеря металась по улицам в рубахах. «Они что же, спали?!» – со злостью подумал Левенштерн. За рубаху он поймал одного из егерей и закричал ему, наклонясь, прямо в ухо:

– Где полковой командир? Где твой полковой командир, болван?!

Егерь посмотрел на Левенштерна ошалелыми глазами и махнул рукой в сторону окраины. Левенштерн решил поверить ему и поехал туда – как ни странно, но Бистром и правда оказался здесь.



– Вам приказано оставить деревню и сжечь за собой мост! – проговорил Левенштерн.

– Поздно – они уже идут! – отвечал Бистром. – Вон, видите... Строиться, строиться, сукины дети! – прокричал он выбегавшим из изб сонным егерям.

– Вчера вечером разрешил я им устроить баню... – растерянно объяснил Бистром Левенштерну, хотя тот ни о чём его и не спрашивал. – Кто же знал, что после неё их так всех разморит. Как мухи, как мухи осенние!

Левенштерн не успел ещё ни о чём подумать, как из тумана выпрыгнули неприятельские солдаты.

– ААААААА! – закричал Бистром. – Огонь! Пали! В штыки!

Несколько выстрелов с русской стороны раздалось. Но французы уже врубились в русскую массу штыками. К тому же, увидел Левенштерн, в деревню вбежала ещё одна французская колонна. В деревне началась резня. Егеря бросились бежать. «Хорошо же начинается дело!» – подумал Левенштерн, пуская лошадь вскачь по деревенской улице. На выезде из деревни к мосту он увидел, как несколько офицеров хватают солдат и толкают в строй: «Куда, куда, собаки! Стоять, стоять!». Барабаны били «сбор». В конце концов в улице удалось собрать массу солдат – многие были в рубахах и босые.

– Вот вам банька! – кричал ходивший вдоль строя Бистром – он тоже оказался здесь. – Попарили вас французы и меня с вами! Как мне в глаза государю смотреть?! Вы ж гвардия – а побежали! Что делать-то будем, братцы?

Солдаты угрюмо смотрели на него.

– А я вам вот что скажу: помирать будем на этом месте! – закричал Бистром. – Слава Богу, после бани, чистые!

Командиры батальонов подошли к нему.

– Дети мои! – прокричал Бистром, забирая особенно высокую ноту. – Идём на прорыв, в штыки. Держаться вместе, не трусить.

Сбившись в колонну, егеря, отстреливаясь, пошли по деревне к мосту под огнём французов, стрелявших по ним из-за домов и деревьев. Хуже всего стало после того, как колонна выбралась из деревни: надо было быстро дойти до моста, а потом пройти по нему. Как только русские вступили на мост, французы выстроились от него по обеим сторонам и открыли частую стрельбу. Мост в считанные

мгновения завалило трупами. Левенштерн, также оказавшийся на мосту, в давке, видел, что почти каждая французская пуля находит цель. Ужас охватил солдат, почти все снова бросились бежать, торопясь покинуть проклятое место. (Левенштерн, не слезавший с лошади, не мог понять, как остался жив – ведь казалось, что по нему, сидящему на белой лошади, как по отличной мишени, должно целиль большинство стрелков, и, наверное, целило). Спасло лейб-егерей только то, что тут же на выручку подоспел 1-й егерский полк, а с соседней высоты по французам начали палить русские пушки.

Во всей этой суматохе сжигать мост было некому и некогда. Французы бросились вперёд и перешли на русский берег. Потеря Бородина грозила обернуться большой бедой, но тут егеря бригады Вуича ударили в штыки и выгнали французоз назад, за реку. После этого мост, наконец, был подожжён.

Барклай наблюдал за всем этим, подъехав почти вплотную.

– Зачем на этом месте поставили один из лучших полков?! – с горечью сказал он вернувшемуся Левенштерну. – Я был против, но Ермолов предложил Кутузову и Беннигсену, и вот полк погиб безо всякой пользы!

Левенштерн промолчал и отвернулся. Барклай нахмурился, выпрямился и медленно поехал вдоль линии своих войск. Артиллерия французоз, начавшая стрелять по всей линии ещё во время боя за Бородино, засыпала русские войска чугуном. Барклай между тем ехал едва ли не шагом, словно испытывая судьбу. Первый же полк, до которого доехал Барклай, вдруг закричал ему «Ура!». Барклай вздрогнул – в последние дни полки встречали его угрюмым молчанием. Выходит – прощён? Мысль эта немного обрадовала его, как может обрадовать приговорённого к смерти известие о том, что в день казни будет солнце.

## Глава четвертая

Ещё в то время, пока в Бородине шёл бой, французоз открыли огонь по флешам, а потом пошли в атаку. Флеша в это время занимала сводно-гренадерская дивизия Воронцова. Первая атака была ею отбита, после

чего французы решили хорошенько проучить русских и собрали для обстрела флешей около 300 орудий.

– Смотри, как стоят! – прокричал Багратион Маевскому, указывая на стоящие под огнём войска. – Как на смотрю. Вот русский солдат – не трус. А впрочем, здесь места трусу и не было бы.

– Я вот что думаю, ваше сиятельство, не нас ли выбрал Наполеон для главного удара? – прокричал в ответ Маевский. – Или думаете, что всё же к Раевскому пойдет?

– А ты поезжай-ка к нему, посмотри, что у него делается! – ответил Багратион, наклоняясь уже почти к самому уху своего дежурного генерала. – И если у него полегче, то моим именем попроси его прислать нам сикурс.

Маевский пустил лошадь вскачь. «Руки мёрзнут, а голова в огне»... – подумал он. Руки и впрямь мёрзли от холодного ветра, а голова горела от возбуждения, в который намешались и страх, и восторг, и какое-то опьянение. «А избушки-то моей уже наверно нет», – подумал Маевский. Перед глазами у него мелькали картины, при виде которых нормальный человек должен бы сойти с ума: солдат с вытекающими на землю внутренностями корчился на земле, несколько человек без голов лежали в один ряд, поражённые, видимо, одним ядром, вороная лошадь отличных мастей билась, не в силах встать – одна нога была напрочь отбита ядром – но Маевский думал о своей избушке, сам того не понимая, что и в этот момент он пытается *спрятаться* в неё.

Раевского он нашёл в рядах 7-го корпуса. Маевскому показалось, что он въехал в ад. В ушах гудело – невозможно было различить орудийный выстрел от ружейного. Раненые разевали рты и кричали, но их за грохотом пальбы не слышал никто. Люди пытались объясняться жестами. Раевский что-то прокричал ему раз, другой, но Маевский так и не понял слов, и тогда генерал просто махнул ему рукой, показывая направление на курган и трогая с места свою лошадь. «Да уж понятно всё...» – подумал было Маевский, который видел, что центр русской позиции обстреливается французами едва ли не сильнее, чем левый фланг, но отказываться было постыдно, и он поехал.

По пути проехали мимо батареи, которая стреляла по французам, в тот самый момент, когда французское ядро попало в зарядный ящик. Маевский увидел, как польхнул

огонь, разлетелись в стороны люди, щепой и мясом забросало всё вокруг на десяток шагов – но он не слышал при этом ни взрыва, ни криков – всё вокруг было один гигантский взрыв и один гигантский крик.

Они наконец въехали на площадку редута. Раевский остановился в левом его углу и сделал широкий жест рукой. Губы его при этом шевелились.

– Что???? – прокричал Маевский.

Генерал снова что-то сказал.

– Что??? – опять повторил Маевский, безотчётно стараясь перекричать всю французскую и русскую артиллерию.

Раевский подъехал к нему вплотную, прижался к самому уху и прокричал в него:

– Скажи князю – вот что у нас здесь делается!

Маевский отстранился и закивал – чего уж, понятно. Его поразило, что в этот момент по лицу Раевского блуждала улыбка – довольная, торжествующая.

Сто французских пушек осыпали батарею чугуном. На площадке редута не было живого места – каждый клочок почвы или дымился, или горел. Казалось, что здесь невозможно оставаться живым, а между тем живые были. Артиллеристы сновали между орудий и даже при этом улыбались – не так, как Раевский, но как люди, вполне довольные жизнью. Маевский, который по дороге всё же замёрз, вдруг понял, что на батарее по-настоящему жарко – большие и малые огни, раскалённые орудийные стволы нагрели это маленькое пространство до состояния зноя.

Несколько орудий были подбиты, и у одного из них как раз в этот момент меняли лафет: для этого орудие подняли так, что ствол уткнулся жерлом в землю, вытащили из-под него разбитый лафет и подставили новый. Операция эта заняла не более пяти минут, но за это время двое её участников были ранены.

Какой-то офицер, длинный, с рябым лицом, (это был Шульман, чудом до сих пор остававшийся в живых) подошёл к Раевскому и что-то закричал. До Маевского долетали остатки слов: «Заряды... Потеря велика...». Раевский закивал в знак того, что понял сказанное и вопросительно глянул на Маевского, будто спрашивая: «Ну что, насмотрелся?». Маевский усмехнулся в ответ и кивнул, что должно было означать: «Насмотрелся». Раевский сделал жест: «Поехали назад».

– Кланяйся от меня князю, но сам видишь – помочь уже ничем не могу. Я и сам жду атаки с минуты на минуту... – проговорил Раевский, когда они выехали к месту, где по сравнению с батареей была почти тишина. – Князь и так утром взял у меня всю мою вторую линию, пусть теперь уж у Кутузова просит.

Маевский кивнул, откланялся и поскакал назад, на флешу.

## Глава пятая

Было семь часов утра. Холодное солнце вставало над горизонтом, за спинами русских. 57-й линейный полк, оттеснённый русскими после первой атаки флешей в лес, под бой барабанов снова шёл вперед. Командир полка Жан Луи Шаррьер накануне, после Шевардина, получил чин бригадного генерала. Радость эта была весело отмечена всем полком у костров накануне. Лейтенант Гарден после этого торжества чувствовал себя в полку своим человеком.

Первая атака на флешу показалась ему не страшнее шевардинской. Правда, Гарден сейчас держался спокойнее, и, ему казалось, что он помнил всё – вот они идут вперёд, вот русские бросаются на них из-за невысоких валов своих укреплений. Гарден помнил и того высокого русского гренадера, который бросился к нему со штыком наперевес – хорошо, кто-то из солдат ударил его штыком в бок, а то не отбиться бы Гардену от него своей шпажкой. Гардену даже не было страшно – некогда было пугаться.

Слева от колонн 57-го выехала артиллерия, и, встав в трёх сотнях метров от русских укреплений, открыла по ним ураганный огонь. Солдаты 57-го линейного радостно закричали на это: «Да здравствует император!».

– На реду! На реду! Марш на реду! – закричал ехавший верхом Шаррьер (русское укрепление издали казалось ему редутом). Колонна шла скорым шагом. Из укрепления полыхнуло огнем, но потом настала тишина и видно было, как русская артиллерия спешно свозит свои пушки. Вся солдатская масса разом закричала что-то страшное и бросилась вперёд. Словно волна перехлестнула через вал. Гардена перенесло через него и бросило внутрь. Несколько

русских солдат отчаянно защищались штыками. Французы бросились на них и Гарден вдруг впервые в жизни увидел, как убивают штыком: француз всадил широкий штык русскому в живот, а потом придавил приклад вниз, выворачивая несчастному внутренности. Русский отчаянно кричал.

Картина эта почти не поразила Гардена – за последние сутки он сделался равнодушен к таким зрелищам.

Солдаты 57-го сгоряча кинулись за отступающей русской пехотой, но никто их не поддержал и они вернулись в только что взятое укрепление. Русские отошли к оврагу. Оказалось, что два других укрепления всё еще остаются за русскими.

– Чёртово место! – пророкотал Жан Луи Шаррьер, оглядев только что захваченную позицию. – Этим люнетом проще завладеть, чем потом его удержать. Русские просто выметут нас огнем!

Пехоте приказано было укрыться за валами. Оттуда солдаты 57-го наблюдали, как русские за оврагом собираются силы для контратаки. Гарден подошел к Шаррьеру, слезшему с лошади, за приказаниями.

– Они собираются выбить нас... – сказал ему Шаррьер. – Чтобы сохранить за собой этот редут, надо взять два других, но это не в наших силах. Поэтому будем просто держаться.

Тут к ним подъехала целая толпа офицеров, в центре которой по расшитому золотом мундиру Гарден угадал генерала. «Это Дессе! – шепнул Гардену Шаррьер. – Пойдемте со мной, я вас представлю». Они подошли к всадникам.

– А, Шаррьер! – сказал Дессе, заметив их. – Что вы здесь делаете?

– Мы взяли это укрепление, мой генерал, но русские явно намерены у нас его отнять! – отвечал Шаррьер. – Я не пойму, где находится 61-й полк, который должен меня поддерживать...

Дессе нахмурился и повернулся было влево, чтобы кому-то что-то сказать, но небольшое происшествие вдруг отвлекло его: пуля ударила в седельную сумку, раздался звон, из сумки потекло и Гарден вдруг ощутил крепкий запах водки. Он внутренне улыбнулся.

– А, это всё из-за вашей проклятой белой лошади! – вскричал Дессе, оборачиваясь к адъютанту, чья лошадь и правда была самой заметной. Адъютанты захохотали.

Шаррьер нахмурился – генерал явно забыл про него, разбитая бутылка водки могла стоять жизни всем солдатам его полка.

– Мой генерал, осмелюсь напомнить, что мой полк надо подкрепить... – заговорил он.

– Они атакуют! Они атакуют! – вдруг закричал кто-то из адъютантов. Гарден оглянулся: прямо на него, озарённые солнцем, через овраг переходили русские пехотные колонны, а левее них Гарден увидел кавалерию.

– А чёрт! – вскричал Шаррьер. – По местам. Открывайте огонь!

Они побежали назад. Шаррьер ковылял, стараясь бегать раненую ногу. Гарден вдруг увидел, что поле заполняется войсками: откуда-то взялась французская кавалерия, а когда они с Шаррьером добежали до вала, позади послышался гром барабанов – это шла пехота. Шаррьер повеселел и закричал: «57-й, держись! Нас не оставят!».

– Это войска маршала Нея... – проговорил Шаррьер. – Они идут на два других люнета. И пусть – должны же и они что-нибудь сделать для победы!

Всё, что было потом, Гарден помнил смутно, одни клочки воспоминаний никак не прилаживались к другим, и Гарден не мог, например, вспомнить, что он делал целый час, пока они отстреливались от русских, укрываясь за валом, и удивительным образом совершенно не помнил атаку русских кирасир, во время которой, рассказывали ему те, кто был рядом, он сам выбегал из-за вала и бил проезжавших мимо русских всадников штыком в бок. Гарден на это говорил: «Да, помню, как же, я тогда убил двоих или троих», хотя не помнил не только этих своих отчаянных поступков, но и того, откуда вдруг у него в руках вместо шпаги взялось ружьё. Гарден понимал, что находился в полубессознательном состоянии, в исступлении, он даже боли не чувствовал, хотя потом, вечером, нашёл у себя две рубленные раны – кирасиры, видать, тоже дотягивались до него. Потом он научился рассказывать обо всём этом так, будто помнил каждую секунду. Но он-то знал, что не помнит из своей жизни целые часы.

Он пришёл в себя только в лесу, куда оставшиеся в живых солдаты и офицеры 57-го отступили, расстреляв все патроны. Здесь он узнал, что русские укрепления всё же остались за французами, что в этом бою ранены генералы Компан, Рапп и тот самый Дессе, которому его так и не успел представить Шаррьер, что маршал Даву контужен, и что в

третьей атаке на эти русские укрепления участвовала едва ли не половина Великой армии. Он иногда думал, что всего этого хватило бы на множество толстых книг. А между тем, когда всё это прошло и Гарден сидел в лесу в изорванном мундире и с удивлением смотрел на свою кровь, когда из Раппа вынимали пулю, а генерал Дессе не давал хирургу отрезать свою руку, когда раненого Воронцова увозили в лазарет на крестьянской телеге на трёх колесах, когда Багратион строил свои войска для последней атаки, ещё не было даже 9-ти часов утра...

## Глава шестая

– Становись! – прокричал Багратион. Колонны замерли. Он оглянулся. Здесь были все, кто ещё мог держать оружие в руках: солдаты и офицеры дивизии Воронцова, дивизии принца Карла Мекленбургского, дивизии Неверовского, дивизии Коновницына, кирасиры дивизии барона Дуки. В крови, в копоти и гари, они собрались под изорванные знамёна, на звук продырявленных барабанов и помятых труб.

– Дирекция – на середину! – прокричал Багратион и выехал вперёд. Рядом с ним выехал генерал Сен-При, француз на русской службе, начальник русского штаба. Багратион посмотрел на него и подумал: «Вот ведь где приходится помирать тебе, французская душа». Подъехали Коновницын и Дука. Выходило, что из генералитета они остались здесь едва ли не вчетвером. Воронцов, Горчаков, Неверовский, толстяк принц Карл Мекленбургский, из-за любви которого к выпивке началось сражение за Смоленск – все уже выпили свою чашу кровавого вина. «Ну и нам пора!» – подумал Багратион. Он с утра посылал за резервами, но пришли только несколько батальонов от Раевского и дивизия Коновницына от Тучкова. Багратион не думал, что Кутузов не дал войск – просто растянули линию, далеко резервы, долго идут. После того, как бой перемолол дивизию Коновницына, Багратион послал Маевского к Тучкову ещё раз, но потом стала слышна от Утицы орудийная пальба и Багратион понял, что ничем ему Тучков уже не поможет – удержался бы сам.

– Барабанчики! Атаку! – прокричал он.

– Атаку! Атаку! – закричали в рядах хриплые голоса. Барабаны забили. Багратион тронул коня.

– Эммануил Францевич, простите меня, если что было не так! – прокричал Багратион сквозь треск барабанов, поворачиваясь к своему начальнику штаба. Потом повернулся к Коновницину: – И ты, Пётр Петрович, прости, не поминай лихом! И вы, Илья Михайлович, простите, если в чём перед вами был виноват...

Сен-При был на русской службе уже 17 лет и понял, что не прощения просит у него командир, а прощается с ним. Сен-При побледнел и тоже сказал: «И вы, Пётр Иванович, простите меня». Коновницин кусал губы, глаза его блстели. Несмотря на свой боевой опыт, некоторые черты поведения у него были совершенно бабьи (из-за этого офицеры звали его «Пётр Петровна»), а некоторые – едва ли не детские. Он не боялся смерти, как не боятся её дети, но именно детским нутром чувствовал сейчас, что минуты наступили необыкновенные.

– Христос с тобой, Пётр Иванович! И ты меня прости, если что было не так, – проговорил он.

Дука пристально смотрел на Багратиона. Дука знал, что уже 25 лет генерала не берут пули, в том, что Багратион заговорённый, были уверены не только солдаты, но и многие из генералов. «Что же это он, чувствует?» – подумал Дука, холодея.

– И вы простите меня, князь Пётр Иванович... – выговорил он.

Войска пошли. Барабаны гремели, завораживая, лишая мыслей. Багратион чувствовал, как смертной яростью наполняется душа. «Странная получилась жизнь... – вдруг подумал он и сам удивился таким мыслям – никогда *так* не думал. – Одна служба и была. Нечего было влюбляться в жар-птицу, нечего... – он вспомнил Екатерину Скавронскую в её 17 лет и те немногие дни и ночи, что были у них... – С Барклаем не попрощался. Зачем я писал про него разные мерзости? Ну да, сгоряча... И ведь не попросишь, чтобы передали, как я перед ним виноват – всех нас сейчас убьют, всех»...

Французы дожидались их молча. Сквозь дым видны были пушки, артиллеристы вокруг них и пальники, которые фейерверкеры держали над самыми затравками. Багратион пришпорил лошадь, вынесся перед ряды и, вытягивая к небу сияющую шпагу, прокричал:

– Дети мои! За мной! Вперёд!..  
– Ура! – взревела тысячная человеческая масса и бросилась вперёд..

## Глава седьмая

Было около десяти утра, когда к Раевскому приехал ординарец от Коновницына.

– Генерал Коновницын просит вас прибыть в Семёновское, чтобы принять команду над 2-й армией по случаю ранения князя Багратиона... – проговорил ординарец.

– Князь Багратион ранен?! – поразился Раевский.

– Да. Пулей или осколком в ногу... Очень серьёзно... – отвечал гонец. Свита, напряжённо прислушивавшаяся к их разговору, зашумела.

– Скажи Петру Петровичу, что сейчас не могу – на меня самого как раз идут французы, – сказал Раевский. – Вот отобьюсь, так приеду.

Раевский понял, почему французы двинулись на него именно сейчас – они сокрушили фланг, теперь им надо сокрушить центр. Раевский с несколькими адъютантами поехал на батарею. На площадке редута стояли кровавые лужи, но Шульман был ещё жив и даже не ранен.

– Я думал, они никогда на нас не пойдут, так и будут стрелять! – сказал он, подходя.

– Они взяли флешу, Багратион ранен. Теперь решили, что наша очередь! – ответил ему Раевский.

– О! – воскликнул Шульман. – Пётр Иванович ранен! Как же так?

Раевский только развел руками. Багратион был для всех почти бог, а то, что его 25 лет не брали неприятельские пули, приводило всех в священный трепет.

– Кончилось, выходит, его счастье... Если уж Багратион ранен, то нам-то и подавно не уцелеть... – задумчиво сказал Шульман.

Они разговаривали почти обычными голосами – французы перестали стрелять, опасаясь попасть в своих. Шульман отошёл, а Раевский попытался разглядеть что-нибудь впереди батареи. Видна была густая масса войск, от которой вдруг отделилась колонна и пошла, кажется, к редуту. Однако дым закрывал и ближние подступы, и дальние.



Раевский выбирал, куда бы ему подъехать, чтобы всё-таки увидеть французов, как где-то рядом раздался истошный крик: «Ваше превосходительство, спасайтесь!». Раевский оглянулся и увидел, как в редут вбегают французы со штыками наперевес. Убегавший от них адъютант, тот самый, который кричал, хлестнул лошадь Раевского, и та понеслась.

Это была атака 30-го линейного полка под командой генерала Бонами. Французы вдруг разом появились отовсюду – лезли через амбразуры, перепрыгивали через вал. Из-за грохота орудий в редуте не было слышно ружейной стрельбы, которую вела по французам русская пехота, занимавшая выкопанные у подножия кургана волчьи ямы, так что появление неприятеля воспринималось совершенно «как из-под земли!». Артиллеристы схватились кто за что. Однако рукопашная вышла короткой – артиллеристы частью были убиты, частью разбежались. Французы в упорении бросились дальше, выбежали за редут ещё на сто шагов. Увидевшие их русские батальоны вдруг... бросились бежать!

Бонами приказал бить сбор. Французы, опомнившись, возвращались в захваченное у русских укрепление.

– Поздравляю вас, генерал! – сказал генералу Бонами капитан Фавье, тот самый, который накануне привез Наполеону дурные вести из Испании, а в день битвы пошёл в атаку с 30-м полком, чтобы доказать императору, что в Испанской армии нет трусов. – Это удивительная атака, и она наверняка будет щедро награждена – вы выиграли для императора битву!

Бонами довольно улыбался. Он поступил в армию во времена республики, ещё в 1798 году был произведён в бригадные генералы, но в 1800 году, после Маренго, его изгнали из армии, обвинив в краже и взятках (на самом деле причиной изгнания было то, что родиной генерала была Вандея, и Бонами подозревали в связях с мятежниками). Только в 1811 году его вернули в армию – перед походом в Россию Наполеону нужны были все. Хотя фамилия Бонами и означает «добрый друг», но генерал характер имел скверный и демонстрировал это, не стесняясь: когда Бонами, чей полк стоял в Любеке, решил посмотреть спектакль в местном театре, он распорядился гнать с лучших мест из ложи мэра и начальника любекской полиции, и адъютант

сделал это. Из-за этого у Бонами тоже начинались было какие-то неприятности, но за подготовкой, а потом и за самой войной императору всё недосуг было его как-то наказать. Теперь же, думал Бонами, такая удача спишет ему не только любекского мэра, но и много чего ещё авансом!

– Да, вот таков генерал Бонами! – пророкотал он. – Не знаю, как император обходился без меня десять лет – может, потому ему и пришлось туговато при Прейсиш-Эйлау и Эсслинге, а?!

И он захохотал. Бонами был высокий, плотный, краснолицый здоровяк. Ему иногда говорили, что он похож на вождя шуанов Кадудалья, расстрелянного много лет назад, но говорили это редко – всё же про Кадудалья, знаменитого врага Наполеона, не стоило лишний раз вспоминать.

Между тем, Бонами был похож на Кадудалья не только внешне, а и внутренне: невероятное упорство, безрассудное желание вцепиться в горло жертве, а там будь что будет, умение пользоваться благоприятным мгновением, которое он угадывал каким-то наитием – таков был, по рассказам, Кадудаль, и таков же был Бонами.

Дивизия Морана, вместе с которой пошёл в атаку 30-й линейный полк Бонами, направлялась на полки 7-го корпуса, стоявшие слева от редута. Но по дороге Бонами вдруг увидел, что редут совершенно затянут дымом, и в голову ему пришло, что за этим дымом из редута, должно быть, совершенно не видно, что творится на поле, внизу, под редутом.

– 30-й линейный, за мной! – скомандовал Бонами, и его полк отделился от основной массы войск. (Этот момент ещё видел из редута Раевский, но потом дым закрыл от него картину).

Бонами вёл полк на грохот русских пушек. Из волчьих ям палили русские стрелки, но быстрый шаг 30-го линейного не позволял им перезарядить и русские умирали на штыках. Бонами мельком удивился тому, что никто из них не пытается спастись. Но раздумывать дольше над этим было некогда – Бонами боялся, что в дыму потерял направление. Однако подъём становился всё круче – Бонами понял, что они на скате кургана.

– За мной! За мной! – прокричал он, надеясь, что хотя бы те, кто вблизи, услышат его.

Солдаты карабкались по скату, хрипя и ругаясь. На кри-

ки «Да здравствует император!» не хватало ни сил, ни дыхания, но и это оказалось хорошо – этот крик мог предупредить русскую пехоту, стоявшую возле редута, и она могла подоспеть на помощь своим.

Пушки русских стреляли вдаль и Бонами понял, что русские и не подозревают о них. Он подобрался к самому валу, к амбразуре. Оттуда полыхнуло огнём и жаром, и сразу после этого Бонами прыгнул через амбразуру внутрь! Двое русских, перед которыми он появился с саблей в руке, в рубахах, а не в мундирах, потные, несмотря на холодный день, в копоты, в крови и земле, смотрели на него круглыми глазами и ничего не успели – ни защититься, ни убежать.

– Я, Бонами, взял этот редут! – кричал генерал. – В первой же атаке взял главный пункт русской позиции! Удавалось ли такое кому-нибудь из тех, кого император сделал маршалами, герцогами и князьями?! А?!

– По правде говоря, удача редкая... – признал капитан Фавье. – Всё счастье было на нашей стороне!

– А, и вы это понимаете! Вот что значит разговор умного человека! – воскликнул Бонами. – Как долго я ждал этого шанса! Я уж думал, он никогда не наступит!

– Вы знаете, – он вдруг наклонился к Фавье и голос его приобрел доверительные нотки: – А я ведь родился 18 августа, хоть и не в один день с императором, но всё же – какие-то три дня разницы! И моя карьера шла отлично, после Маренго я вот-вот должен был стать дивизионным генералом, и тогда я не бегал бы в атаку, а посылал в неё! Но проклятые враги! Теперь-то они заткнутся!

– О да, – сказал Фавье. – Теперь их никто не будет слушать...

Фавье не знал, на чём сломалась карьера Бонами, да ему было и всё равно. Битва принесла Фавье облегчение: за тот месяц, что он ехал по Европе с плохими вестями для императора, он изрядно устал душой – нет человека грустнее, чем солдаты разбитой армии.

При этом Фавье понимал, что русские вот-вот придут в себя. Понимал это и Бонами.

– А, капитан Франсуа! – вскричал Бонами, увидев одного из своих офицеров. – Рад видеть вас в живых! Прикажи-те укрепить редут!

Франсуа, только что получивший от русских канони-

ров пару ударов прибойником по голове, пытался придти в себя. Наконец, он оглянулся.

– Сомневаюсь, что нам это удастся... – проговорил Франсуа. – Может, в начале боя это и было похоже на редут, но теперь это не похоже ни на что...

Он был прав: от действия своей и неприятельской артиллерии, от постоянной дрожи земли скаты вала осыпались, разбитые туры перекосило. Внутренность редута с тыла изначально была кое-как прикрыта частоколом, но и он сейчас был сильно повреждён, из-за чего Франсуа не мог понять даже то, было ли это укрепление вообще закрыто сзади или это всё-таки был люнет.

– Надо немедленно послать за артиллерией! – сказал Бонами. – А пока подкатите к скату русские пушки – у нас же найдутся люди, которые знают, как из них стрелять?

– Такие найдутся, но боюсь, что у русских осталось немного зарядов... – ответил Франсуа. – Но почему за нами никто не идёт? Как так вышло?

Втроём – Бонами, Франсуа и Фавье – они подошли к переднему фасу редута и посмотрели вдаль, на то поле, по которому только что пришли сюда. В дыму кое-как виделись линии каких-то войск, занятые стрельбой и маневрированием.

– Франсуа, пошлите кого-нибудь к генералу Морану, пусть немедленно займёт этот пункт! – сказал Бонами. – Пусть скажут, что у Бонами есть отличный подарок для императора. Но если Моран промедлит, этот подарок может превратиться в тыкву!

И Бонами раскатисто захохотал.

## Глава восьмая

Н езадолго до того, как Бонами взял редут, на командном пункте Кутузова стало известно о ранении князя Багратиона и потере флешей – Коновницын, посылая одного вестового к Раевскому, другого послал в Главную квартиру. Известие это встревожило Кутузова, но он привычно старался не подавать виду, да и надеялся ещё, что всё не так уж плохо, что Коновницын намеренно представляет дело в чёрных красках, чтобы получить побольше сикурса. Кутузов на недолгое время задумался, потом



оглянулся и из толпы штабных взгляд его остановился на генерале Ермолове.

– Алексей Петрович! – позвал Кутузов и Ермолов тотчас подошёл.

– Езжай на левый фланг, посмотри, как там, и если всё в самом деле так плохо, как говорит Коновницын, то восстанови порядок и держись. Баггуют со своим корпусом должен бы уже придти, да теперь же отправлю я на левый фланг корпус Остерман-Толстого. С ними и составишь новую линию.

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! – сказал Ермолов. – Я возьму с собой ещё артиллерию?

– Возьми, возьми... – проговорил Кутузов, будто думая уже о другом.

Ермолов быстро пошёл к лошадям. Сзади к нему подбежал Кутайсов.

– Ты на левый фланг? Я с тобой! – проговорил он. Ермолов тут же вспомнил вчерашнего «Фингала» и слова Кутайсова о смерти, которые так напугали его.

– Александр, Кутузов запретил тебе отлучаться с командного пункта! – ответил Ермолов. – Вот хватится тебя, а тебя нет!

– И что с того, что я стоял здесь всё утро – он и не вспомнил про меня... – сказал Кутайсов. – Едем. Я в конце концов начальник артиллерии, возьмём побольше пушек из резерва и устроим французам славную баню!

«И как я его удержу?» – тоскливо подумал Ермолов. Оба вскочили на лошадей и поехали вместе с адъютантами. Кутузов видел, что за Ермоловым увязался Кутайсов, но только помотал головой: «Ей-Богу, как дети. А ведь не кондитерский магазин»...

В это же время из Горок, из Главной квартиры, ехал Барклай-де-Толли, приехавший Кутузову требовать, чтобы не трогали его резервов. Поводом стало то, что гвардейские полки, не спросясь Барклая, были отправлены на левый фланг, тогда как Барклай рассчитывал пустить их в дело не раньше вечера.

Кутузов, увидел подъезжающего Барклая, влез на лошадь и поехал навстречу. «Не хочет говорить при всех», – подумал Барклай. Они встретились. Барклай, стараясь не раздражаться, высказал всё: и что резервы нельзя трогать в такой ранний час, и что сражение едва началось, и что

от обороны надо будет ведь переходить к атаке, а чем прикажете переходить?! Кутузов слушал молча, но потом кивнул, во всём согласился с Барклаем и сказал, что зажмёт оставшиеся резервы в кулаке. Барклай помягчел и из Горок ехал почти успокоенный. Он ещё не знал, что как раз после его отъезда приехал гонец от Коновницына и Кутузов уже приказал взять из 1-й армии ещё один корпус – Остерман-Толстого – и немедленно идти ему на левый фланг.

Барклай поехал из Горок влево, вдоль линий корпуса Дохтурова. Он потом и сам не знал, почему поворотил коня именно сюда, выходило – Бог тогда потянул его поводья. Впрочем, было и другое объяснение: справа от Горок была тишина, слева кипел бой – куда ж ещё было ехать ему, генералу?

Барклай ехал медленно, не обращая внимания на разрывы вокруг – французы явно выцеливали группу всадников. Ехавший рядом Вольдемар Левенштерн тоскливо думал, что Барклай явно ищет смерти. Издалека Барклай увидел вдруг странное движение на кургане.

– Левенштерн, что это там? – спросил Барклай своего адъютанта.

Левенштерн уставил на высоту зрительную трубку, но ничего не разглядел в дыму и пыли.

– Езжайте разузнать в чём дело... – распорядился Барклай.

Левенштерн поскакал. Вольдемару Левенштерну было тогда 35 лет. Он только зимой вернулся в военную службу после восьми лет отставки, во время которых пытался заниматься помещьем. Может, у него что и вышло бы, но умерла жена и мирная жизнь стала Левенштерну невозможной, да и не для кого теперь было жить. С самого начала он состоял при Барклае, с ним проделал от Вильны весь поход, думал, что лучше командира не может быть, и полагал, что и Барклай ценит его высоко – уже хотя бы потому, что именно через Левенштерна Барклай как военный министр вёл переписку с царём.

Однако издержки столь высокого доверия оказались велики: многие полагали, что Левенштерн имеет на Барклая влияние, чуть ли не вся кампания делается под диктовку Левенштерна, так что он в общем-то и есть виновник всех неудач. Совершенно неожиданно Левенштерн сделался вместе с Барклаем изгоем. Потом и вовсе произошёл

случай, доставивший Левенштерну множество проблем: накануне боя под Рудней русские захватили бумаги штаба генерала Себастиани, среди которых оказался и план русской атаки на этот день. Ермолов тут же сказал, что план этот передал французам Левенштерн, больше никому (а он и впрямь ведь знаком был с Себастиани еще с 1809 года, когда Россия была союзницей Франции).

Так оказалось, что изгой – это ещё не самое плохое: теперь выходило, что Левенштерн чуть не французский агент. Сам Левенштерн и не подозревал о той сети, которая плетётся, и в которую он вот-вот должен был попасть. Только в Москве, куда Левенштерна неожиданно отправили перед самой битвой, он от военного губернатора графа Ростопчина узнал об обвинениях и о том, что дело может кончиться ссылкой в Пермь. Спасло Левенштерна то, что Ростопчин поверил своему сердцу и решил, что Левенштерн не предатель.

Левенштерн приехал назад, в армию, вечером 24 августа, безо всякой радости, словно в тюрьму. Главной болью было то, что Барклай не сделал никаких попыток помочь ему. «А ведь достаточно было вспомнить и сказать всем, что в эти дни я был в Смоленске и никаких планов Себастиани передавать не мог, потому что про решение драться под Рудней даже не знал!»... – думал Левенштерн и эта мысль не оставляла его. Он понимал, что всё объясняется просто: Барклай самого уже открыто обвиняли в предательстве, так что его слова вряд ли имели бы вес. Но даже при этом, считал Левенштерн, командир должен был вступить за своего офицера. Или не должен?

В таких раздумьях, избегая встречаться с Барклаем взглядом, Левенштерн прожил кое-как 25 августа. Настал день генеральной битвы. Во всё время начавшегося сражения Левенштерн пытался настроиться на тот лад, который бывал у него прежде в бою: забыть обо всём, вдыхать запахи пороха, играть с пулями наперегонки. Но не мог. Сам себе удивляясь, он не чувствовал ничего из того, что прежде, да не так уж и давно, составляло главные впечатления его жизни. Явное желание Барклая умереть, которое ещё недавно привело бы Левенштерна в священный трепет, сейчас раздражало его: осколки ядер, пущенных явно по Барклаю, уже поразили двоих его адъютантов. Не то что-

бы Левенштерн боялся стать третьим – он просто полагал сегодня, что в смерти человека на поле боя всё же должно быть больше смысла.

Лошадь Левенштерна летела стрелой. «Что бы там могло было быть?» – думал Левенштерн, и вдруг увидел то, чего и в мыслях не допускал – навстречу ему в полном беспорядке бежали русские солдаты. «Да неужели прорвался француз?!» – скорее удивлённо, чем со страхом, подумал Левенштерн, и поймал с лошади одного из солдат за воротник:

– Чего бежишь?

– Французы! Французы! Уйма! Всей армией валят! – кричал солдат.

Левенштерн бросил его и поехал вперёд. Солдаты бежали от кургана (это были те самые батальоны, которые бросились бежать при виде полка Бонами). Левенштерн искал глазами барабанщика или трубача, надеясь с их помощью остановить хоть сколько-нибудь людей. И тут, не веря глазам, он увидел стоящий колонной пехотный батальон! «Есть Бог на свете!» – подумал Левенштерн, подлетая к колонне. Кругленький толстенький офицер выкатился ему навстречу.

– Чего ж вы стоите?! – проговорил Левенштерн. – Именем главнокомандующего приказываю – вперёд! Вперёд!

Батальонный командир последние несколько минут ни на что не мог решиться. Батальон его только чудом удерживал строй среди моря бегущих и вот-вот мог сам пуститься наутёк. Но тут вдруг, от слов Левенштерна, всё стало просто и ясно: вперёд. И пусть там и правда вся французская армия – вперёд!

– Ну что, ребята, дадим французам попробовать русского штыка?! – закричал толстенький офицер высоким голосом. Солдаты молчали, но Левенштерн вдруг почувствовал, что настроение этой массы людей, вот только что готовых бежать, переменялось мгновенно – они наливались яростью и свирепели.

– Прикажете вашим людям, чтобы не кричали «ура!»... – сказал Левенштерн. – Только на самом верху, на самом верху! А то дыхания не хватит.

– Ребята, вперёд! За мной! – прокричал Левенштерн, вынимая саблю и прищпоривая свою лошадь. Батальон пошёл вверх по крутому склону кургана. Толстенький офи-

цер шёл пешком, вытирая круглое красное лицо платком. Левенштерн написал потом о нём в своих воспоминаниях «в нём был священный огонь», но имени его так никогда и не узнал – не нашёл его после боя.

Они поднимались по склону холма. Левенштерн увидел разрушенный палисад, служивший, видимо, тыльной стенкой редута. Внутри, на площадке, ходили французы, ещё, похоже, не пришедшие в себя от своей удачи.

– Ура! Ура! – прокричал Левенштерн. – В штыки!

– Ура! – взревели солдаты и бросились сквозь проломы палисада внутрь.

Левенштерн бросил своего коня на группу французов. Конь растолкал их грудью, Левенштерн пластал саблей то в одну, то в другую стороны. Один из французов, в чёрном мундире, расшитом золотом, вскинул было пистолет, но Левенштерн успел рубануть француза саблей по лицу, и тот закричал, зажимая хлынувшую будто вино кровь. Оглядываясь, Левенштерн вдруг понял, что французов-то не так уж и много. «Да мы победим!» – подумал Левенштерн, до этого всем нутром подготовившийся к смерти.

По всей площадке редута гонялись за французами солдаты в зелёных мундирах. Того, кого Левенштерн полоснул саблей, солдаты подняли на штыки и так припёрли к стенке редута. Француз что-то истошно кричал. Левенштерн прислушался – француз кричал: «Же сюи ан руа! Же сюи ан руа!».

– Бросьте его, ребята, – прокричал, подъезжая, Левенштерн. – Он какой-то король.

Один из солдат, молодой егерский фельдфебель Золотов, услышав это, кинулся в толпу, растолкал всех и схватил несчастного Бонами (это был именно он) за воротник залитого кровью мундира.

– Тихо! Тихо! – кричал Золотов. – Хватит ему уже!

Левенштерн прыгнул с коня и сказал Золотову, улыбаясь:

– Веди его к Кутузову, может и правда король. За генералов положен крест, а уж за короля даже не знаю, чем тебя наградит Кутузов.

Тут Бонами оставили силы и он упал на землю. Золотов собрал солдат и они понесли Бонами прочь на перекрещенных ружьях. Левенштерн оглянулся, ища взглядом толстенького офицера.

Вместо него он вдруг с удивлением увидел, как через мёртвых и раненых шагает к нему со шпагой в руке так же удивлённо глядящий на него Ермолов. Ермолов остановился на миг, потом подошёл и протянул руку. Левенштерн молча пожал её и они обнялись.

– Поздравляю вас, Владимир Иванович, с Георгиевским крестом! Уж я всё сделаю, чтобы вы его получили! – с чувством сказал Ермолов. И, помолчав, добавил: – И вы уж простите меня сам знаете за что.

Левенштерн внимательно посмотрел на него и кивнул.

– А вы-то как здесь, Алексей Петрович? – спросил он.

– Как вы с Барклаем уехали, приехал вестовой с левого фланга с известием, что князь Багратион ранен и флешки потеряны. Меня и Кутайсова Кутузов отправил исправить дела.... – ответил Ермолов. Левенштерн потрясённо смотрел на него – столько было новостей и каких!

– Едем мы мимо, пули поют... – Ермолов настроился на иронический лад. – И тут видим – бегут наши воины с редута! Я даже и не помню, какие слова я нашёл, чтобы их поворотить. А ведь поворотил! – он горделиво вскинул голову. – И как есть, толпой, пошли мы назад. А вы молодец! Знайте: я всегда буду приятелем человека, которого видел на белом коне впереди Томского полка при атаке этого редута!

Левенштерн усмехнулся и подумал, что обо всём этом приятно будет вспоминать всю жизнь. (Он ошибся – потом Ермолов говорил всем и везде, что батарею отбил он один, про Левенштерна в мемуарах своих не писал, а чтобы получить Георгиевский крест, Левенштерну пришлось летом 1813 года, почти через год, писать Барклаю рапорт. Поэтому Левенштерн о своем подвиге на Шульмановой батарее не любил ни рассказывать, ни думать).

– А где же Кутайсов? – спросил Левенштерн.

– А вот я и думаю... – спохватился Ермолов. – Где же он?..

Они пошли по площадке редута, кричали, спрашивали солдат и офицеров, выглядывали за вал, но Кутайсова так и не было. Ермолов решил, что, может, тот поехал по каким-то надобностям назад, в Горки, хотя и понимал отлично, что ни по каким таким надобностям Кутайсов отсюда бы в Горки не уехал. Потом была поймана бегавшая по полю лошадь Кутайсова – седло и стремя на ней были в крови.

Ещё позже какой-то солдат принёс шпагу и орден Кутайсова – тот самый Георгиевский крест третьей степени. Страшная его участь стала очевидной. Ермолов всю жизнь помнил оказавшиеся пророческими слова: «Мне кажется, меня завтра убьют»... (Правда, позже, Ермолов, любивший преподносить себя как человека исключительного, стал рассказывать, будто это он предсказал Кутайсову скорую смерть, прочитав её печать на лице товарища. Но поверить в это трудно). Тело Кутайсова так и не нашли.

## Глава девятая

– Сейчас отрежем вам руку и всё зарубцуется в лучшем виде через две недели! – радостно говорил голос где-то сбоку Левенштерна. Левенштерн вздрогнул. «Слава Богу, что это не мне!» – подумал он. У него была рана пустяковая – пуля прошла сквозь правую руку – но пришлось ехать в лазарет. Левенштерн повернулся – врач, штаб-доктор Измайловского полка Каменецкий, соблазнял ампутацией молодого человека лет семнадцати в артиллерийском мундире. Несчастливого только что принесли, ещё стоял при нём сопровождавший его бомбардир.

– Козлов, останься со мной, пока придут из обоза мои люди... – попросил офицер.

– Я попрошу, ваше благородие, чтобы здесь покамест вас поберегли, а мне позвольте вернуться на батарею: людей много бьёт, всякий человек теперь там нужен... – отвечал бомбардир.

– Христос с тобою, мой друг... – отвечал офицерик, едва шевеля запекшимися губами. – Если останусь жив, ты не останешься без награды...

Хирург подождал, пока бомбардир ушёл, и снова подступил к своей жертве. Левенштерн, которого уже перевязали, подошёл ближе и увидел, что у юноши левая нога раздроблена.

– Чем это вас? – спросил Левенштерн. Он знал, что раненого нужно отвлечь и для этого годятся даже разговоры о самом ранении.

– Должно быть ядром... – отвечал бедняга. – Мы стреляли по кавалерии картечью, пальнул я из флангового орудия, и оказалось, что это последний мой салют неприятелю!

– Не падайте духом, – сказал Левенштерн. – Ваша рана не смертельная. Как вас зовут?

– Норов, Авраам Норов... – прошептал юноша.

– Норов, Норов! – вдруг закричал молодой офицер, хидивший между лежавших и напряжённо вглядывавшийся в лица. Это был Дивов, уже час искавший по всему полю Кутайсова и осматривавший теперь лазареты. – Откуда ты здесь? Впрочем, что за дурацкий вопрос. Что мне сделать для тебя?

– Дивов, сделай чудо, добудь мне немного льда... В горле пересохло... – попросил Норов. Дивов кивнул и вышел.

Левенштерн смотрел на лицо этого мальчика, черты которого, тонкие, становились всё тоньше. «Неужто помрёт?» – подумал Левенштерн. Главной его тайной, которую он не рассказывал никому (только в воспоминаниях через много-много лет написал) было вот что: давным-давно, когда ему было 16 лет и он должен был в первый раз ехать в армию, мать позвала деревенскую гадалку, которая дала Левенштерну выпить какое-то зелье из ствола солдатского ружья. «Теперь тебе не страшна никакая беда!» – торжественно заявила гадалка. Левенштерн выпил снадобье, не веря в колдовство, просто чтобы хоть немного успокоить мать. Но потом всякий раз, когда опасность проносилась над головой, кося тысячи вокруг, но не трогая Левенштерна, он вспоминал эту колдунью. «Вот ведь едва не шпионом меня выставляли – а пронесло... – думал Левенштерн. – И только что на батарее – сколько народу погибло, Кутайсова так и не нашли – а мне только руку оцарапало»...

– Откуда вы? – спросил он Норова. – Где вы сейчас воевали?

– Возле Семёновского оврага. Наполеон пускал с этой стороны свою кавалерию. Уж мы их попотчевали! – офицерик двинул губами, пытаясь улыбнуться. – Стреляли со ста пятидесяти сажений – каждая картечина в цель. От крови там всё чёрно и мокро...

Тут вбежал Дивов.

– Авраам, нашёл... – прокричал он. – Вот...

В руках у него был платок, в котором оказались два кусочка льда. Левенштерн уставился на них удивлённо – он не понимал, где можно найти лёд на этом поле в такой день. Ему тоже вдруг остро захотелось пить, но он не посмел просить немного льда для себя.



Норов взял льдинку в рот и закрыл глаза. Штаб-лекарь Каменецкий, посмотрев на него, вздохнул и отошёл к дюжему гренадеру, который тут же ждал решения своей участи.

– Ну-с... Сейчас мы тебеотрежем руку и все зарубцуется через две недели в лучшем виде! – сказал Каменецкий гренадеру даже как-то радостно, едва, показалось Левенштерну, не потирая руки, как это делают гурманы в ресторане в предвкушении хорошей еды. Левенштерна передёрнуло и он вышел.

«Какой день... Какой страшный день... Какой долгий день... – подумал Левенштерн. Он вдруг понял, что наконец-то забыл обо всех своих передрагах, о своих обидах на Барклая, на Ермолова и на всех других, чинивших ему козни. – Да ведь половины из них сегодня к вечеру не будет в живых»... – вдруг подумал он и эта мысль примирила его с врагами.

Рука гудела. Когда пуля попала в него, Барклай советовал Левенштерну ехать уже в лагерь. Он и сам поначалу собирался сделать именно так. Но теперь вспомнил бомбардира, его слова про то, что всякий человек нужен, и ехать в обоз стало совестно.

Тут у лазаретных палаток остановилась коляска и из неё начали бережно кого-то выносить, Левенштерн подошёл и ахнул – это был Багратион! Багратион также узнал адъютанта Барклая и велел тем, кто его нёс, остановиться.

– Что Барклай? – спросил он.

– Жив, – отвечал Левенштерн, решив не пускаться в подробности о том, что уже давно не видел своего командира.

– Передайте генералу Барклаю, что участь армии и её спасение зависят от него... – медленно проговорил Багратион. Люди, державшие его, стояли, не шевелясь. – До сих пор всё идет хорошо. Но пусть он следит за моей армией и да поможет нам Господь...

Багратиона понесли. Левенштерн смотрел ему вслед.

«Весь поход Багратион обвинял Барклая сначала в трусости, а потом – в предательстве, не стесняясь в выражениях... – думал Левенштерн, едучи в Горки и пытаясь приспособиться к шагу лошади так, чтобы не растрясло руку. – А теперь у Багратиона только на Барклая надежда. Ермолов писал на меня кляузы, а будь его власть, так уж давно был

бы я арестант или уж самое малое ссыльный. А на батарее поди ж ты – обнял. И я вон, чувствую, всем всё забыл. Что ж мы только на краю-то умными и добрыми становимся? Или только в этот миг открывается у нас сердце? А чуть полегче – и хлоп, опять на замке? Выходит, для науки посылает нам Господь войну? Война – это ад, только некоторых из него выпускают. Но чему же ты хочешь научить нас, дураков, Господи и зачем ты создал нас такими, что мы не учимся ничему?»...

Кругом гремела великая битва, стреляли сотни пушек, умирали и хрипели от ран сотни и тысячи людей, а Левенштерн ехал сквозь битву и не замечал её.

## Глава десятая

После ранения Багратиона команду над левым флангом принял Коновницын, но тут же послал к Кутузову просьбу прислать кого-нибудь на этот пост – Коновницын боялся первых мест. Кутузов отправил Дохтурова. Тот сразу по прибытии прислал адъютанта с просьбой о подкреплениях. Кутузов поморщился и приказал принять командование левым крылом герцогу Александру Вюртембергскому, тому самому, с которым у Баркляя утром вышел спор о необходимости защищать Бородино. Однако и герцог прислал за сикурсом сразу по прибытии. Кутузов снова поморщился, велел сказать герцогу, что он нужен ему, Кутузову, в Горках, для личных советов, и снова передал команду Дохтурову.

«Неужто там и правда так всё скверно?» – подумал Кутузов. Чтобы удостовериться, он приказал Толю отправляться к Семёновскому. Толь взял с собой Щербинина. Они гнали во весь опор – так было и быстрее, и, казалось, спасительнее – пули отстают. Щербинин в первый раз был в таком большом сражении, и разворачивавшиеся перед ним картины так поражали его, что он забывал бояться. Когда он и Толь приехали в Семёновское, Щербинин круглыми глазами смотрел на то, как под ядрами падают и ломаются деревья – ему казалось, что всё это ненастоящее, театр, декорации. Толь осмотрелся, поговорил с Дохтуровым и велел Щербинину передать главнокомандующему, что подкрепление необходимо. Щербинин погнал свою лошадь в Горки.

Кутузов издалека увидел этого адъютанта, и, ожидая плохих новостей, взгромоздился на лошадь и поехал навстречу.

– Ну что же там? – спросил Кутузов Щербинина.

– Ваша светлость, Карл Федорович велел передать, что подкрепление необходимо.

Кутузов посмотрел куда-то в сторону отсутствующим взглядом и сказал:

– Поезжай же ко 2-му корпусу и веди его на левый фланг.

Неизвестно, зачем он так сказал – 2-й корпус уже давно был отправлен к Семёновскому и Щербинин встретил его уже на марше. Придя с корпусом в Семёновское, Щербинин отыскал Толя и оставался при нём.

На командном пункте Кутузова после известия о ранении Багратиона, отъезда Ермолова с Кутайсовым и отправки на левый фланг подкреплений наступила тягостная тишина. Оставалось только ждать. Кутузов допускал, что и французы вот-вот появятся возле Горок – чего не бывает в бою. Так что он почти не удивился, когда приехал адъютант от Раевского с известием о том, что его батарея захвачена, подумал только: «Вот оно!», и напрягся, чтобы не показать вида, когда придут ещё худшие новости. Но почти сразу прискакал вестовой с известием о том, что батарею отбили и сам Мюрат взят на ней в плен! Настроения сразу стали лучше, офицеры заулыбались и стали сыпать шутками. Мюрат был одной из главных знаменитостей обеих армий, его одеяние («карусельный костюм» по выражению Дениса Давыдова) было предметом обсуждений и наблюдений. И вот этот человек – зять Наполеона и сам король – попал в плен!

Кутузов сразу велел объявить по линии войск для воодушевления, что Неаполитанский король в плену. Несколько человек ускакали. Тут принесли «мюрата»: лицо несчастного было так изрублено, что он едва смог пояснить, что он генерал Бонами. (Мюрат мог попасть в плен позже, во время боя возле Семёновского, когда на него кинулась русская кавалерия – Мюрат при этом успел укрыться в каре одного из французских полков).

– А с чего же ты решил, что он король? – смеясь, спросил Кутузов фельдфебеля Золотова, стоявшего на страже добычи.

– Так сам-то я по-ихнему не смысло, но бывший на кургане господин майор сказал, что это король, – ответил Золотов, уже боявшийся, что не будет ему никакой награды. (Потом его произвели в подпоручики – из солдат он разом прыгнул в офицеры).

Бонами расспросили, он по мере сил отвечал, что да, назвался королём – надеялся, что кто-нибудь из русских офицеров поймёт его и спасёт. У Бонами болело всё (у него было то ли двенадцать, то ли двадцать две раны, нанесённых штыками и саблями), но большее всего ему было то, что жар-птица – герцогский титул, дворцы, дружба с императором, деньги, золотые кареты, первые красавицы империи – всё, всё, всё это выскользнуло из рук как песок. Чуть было не выскользнула из тела и жизнь – как и почему ещё он догадался крикнуть эти спасшие его слова?!

Сквозь заливавшую лицо кровь Бонами видел этих людей – бесформенного старика в бескозырке (он понимал, что это и есть Kutuzoff), каких-то ещё офицеров, которые подходили смотреть на него, как на пойманного живым кабана. Бонами думал, что надо бы встать – французский генерал и в плену французский генерал! – но не мог. Кровь вытекала из него через множество дыр, и он всё сильнее слабел.

– Хватит смотреть, чай не на ярмарке! – сказал наконец Кутузов. – Унесите, пусть перевяжут беднягу. Он всё же герой – ведь как ловко у нас батарею исхитил! Если бы не Ермолов (Ермолов уже тогда рассказал только о себе), если бы не Ермолов...

Сражение шло чуть больше четырёх часов, а французы уже сбили его левый фланг и только чудом не прорвали центр. Кутузов боялся представить себе, что было бы сейчас, если бы положение в центре не удалось восстановить. «Побежали бы, как при Аустерлице? – подумал он. – Или стояли бы? Вот ведь – стоят». Его передёрнуло при воспоминании о том, как побежали войска при Аустерлице и как его зять Фёдор Тизенгаузен со знаменем пошёл останавливать их. Никого не остановил. «Придётся и мне брать знамя и идти... – подумал вдруг Кутузов. – Если побегут, живым оставаться нельзя, проще умереть». Где-то он слышал слова «Мертвые сраму не имут» и теперь задумался над ними – о чём это? Мертвым не стыдно? Умер – и очистился? «Получается: умер – и ни в чём не виноват? – подумал он. – Всё

мы, русские, в смерти облегчения ищем, по-нашему: умер, а там хоть трава не расти, погиб – значит, герой. Победить надо, а не умереть... А умереть – дело нехитрое».

Но как победить и что такое победить в таком бою? Этого Кутузов не мог понять. Самый момент был бы пустить французам в тыл корпус Тучкова 1-го, но Кутузов уже знал, что Тучков бьется с поляками Понятовского возле Утицкого кургана. Как он оказался около него, Кутузов не понимал – 3-му корпусу была определена другая позиция, но выходило, что Тучков пригодился и так – иначе, думал Кутузов, вышел бы Понятовский к самому Псарёво, прямо к артиллерийским резервам.

Вернувшийся с левого фланга Карл Толь сообщил Кутузову о том, что казаки нашли брод на французский берег и готовы перейти Колочу, атаковать, а там – как Бог даст. После известия о взятии в плен «мюрата» на командном пункте впали в восторг и хотели верить, что удача перешла к русским. Да ещё и Толь пользовался такими словами, так всё преподносил («сильная диверсия кавалерийского корпуса на левом фланге противника», «новый могучий импульс всему делу», «успешное решение сражения»), что Кутузов, хотя и понимал, что речь идёт всего лишь о посылке в тыл французам пяти тысяч казаков атамана Платова – мизерного числа, всё равно что булавкой колоть слона, – захотел вдруг поверить в то, что и правда получится сильная диверсия (да и если попасть слону в глаз, то и булавка – оружие). К тому же и казаки в этом бою всё равно оставались не у дел, а так вдруг да выйдет польза? Для усиления вместе с казаками отправлен был и кавалерийский корпус Уварова. Теперь оставалось только ждать...



## Глава одиннадцатая

В свите генерала Уварова, командовавшего при Бородине 1-м кавалерийским корпусом, состоял в этот день Карл Клаузевиц, один из тех прусских офицеров, которые перешли на русскую службу после разгрома своей отчизны. Клаузевиц уже тогда был в Европе знаменитостью: после разгрома Пруссии он читал лекции по военной истории в Берлинском университете и лекции были таковы, что Наполеон лично потребовал запретить Клау-

зевицу преподавать. В 1811 году вместе с ещё одним не сдавшимся пруссаком, Гнейзенау, Клаузевиц разрабатывал план народного восстания в Пруссии. В начале 1812 года, прежде чем перейти на русскую службу, Клаузевиц составил три манифеста, в одном из которых писал: «Я считаю и признаю, что народ не может стоять дороже, чем его достоинство и свобода. Именно это он должен защищать до последней капли крови. Постыдное пятно малодушия никогда не может быть стёрто. Эта капля яда в крови нации потом перейдёт на потомков, калеча и разрушая силы будущих поколений. Но даже потеря свободы после кровавой и почётной борьбы может обеспечить возрождение народа. Это семя жизни однажды даст росток нового хорошего укоренённого дерева».

У Клаузевица была в этой войне своя цель, хоть и небольшая: он пошёл воевать для того, чтобы не было стыдно перед самим собой. К тому же ещё в 1804 году Клаузевиц написал, что Наполеон в конце концов нападёт на Россию и будет разбит, и вот теперь хотел видеть это своими глазами, участвовать в этом.

Поход очень измучил его. От голода и жажды, от жары он высох, у него выпадали волосы. С этим можно было бы мириться, если бы на знания Клаузевица был в России спрос, но нет: по незнанию языка он оказался здесь никто. Сначала его определили в отряд к Петру Палену, но тот, узнав, что Клаузевиц не понимает по-русски, демонстративно вёл все разговоры с офицерами своего отряда на русском языке. Потом Клаузевиц состоял несколько дней при полковнике Толе, а затем был назначен оберквартирмейстером 1-го кавалерийского корпуса.

В день битвы Клаузевица удивило то, что всё то время, пока он мог видеть Кутузова (а это были утренние часы сражения), полководец имел рассеянный вид и на все предложения, выслушав их, отвечал: «Хорошо, сделайте так». Вот и когда к нему приехал Толь с предложением устроить рейд в тыл Наполеона силами 1-го кавалерийского корпуса, Кутузов сказал: «Ну что ж, возьмите его»...

Уварову было велено ехать с присланным от Платова принцем Гессен-Филиппстальским, который должен был показать дорогу. Принц, кудрявый, с быстрыми глазами и с усами подковой, в свои сорок лет не утратил способности вспыхивать от некоторых идей как порох – задуманный им

и Платовым рейд был, видимо, как раз из таких. (Да к тому же и воевал принц до сих пор только с турками). Уваров, круглоголовый, с буйной шевелюрой, хмуро посмотрел на принца, ещё плотнее сжал и так плотно сомкнутые губы, но – что делать, приказ! – повёл свой корпус вперёд

Клаузевиц был теоретиком войны, взгляды которого были известны в Европе уже тогда, хотя и ограниченному количеству лиц. Клаузевиц считал, что для победы необходимо определить «центр тяжести противника» и, найдя его, обрушить на него удар как можно большей силы. Экспедиция Уварова не отвечала этому правилу по всем пунктам: и шли войска неизвестно куда, и было их так мало, что вряд ли они на что-то могли повлиять. Да ещё и приказ, полученный Уваровым, был расплывчатым: «атаковать неприятельский фланг с тем, чтобы хоть немного оттянуть его силы, атаковавшие нашу вторую армию...» – так излагал его потом сам Уваров в своем рапорте Барклаю.

1-й кавалерийский корпус имел две с половиной тысячи сабель, которые должны были присоединиться к казачкам Платова, войско которого насчитывало около пяти тысяч человек.

После 11 часов утра Уваров со своей конницей переправился через Колочу выше Бородина, к которому и пошёл затем по французскому берегу. Недалеко от Бородина оказалась плотина и перед ней – неприятельская пехота. Увидев её, Уваров нахмурился ещё больше и велел атаковать.

Клаузевиц, собрав все свои знания русского языка (он кое-как выучил главные слова ещё в Вильно) попытался остановить своего начальника:

– Фьёдор Пьетрович, прикажите сначала стрелять во француз пушки...

Уваров понял, что хотел сказать этот пруссак, но отрицательно помотал головой:

– Если мы сначала будем стрелять по ним из пушек, то они уйдут за плотину. А если они сейчас дрогнут, то мы на их плечах перейдем плотину, а тогда уж нас нескоро остановят! Атаковать! Атаковать!

Его корпус составляли гвардейские гусары, казаки, уланы и драгуны. На неприятеля бросились лейб-гусары, но пехота выстроилась в каре и открыла огонь. Трижды лейб-гусары атаковали каре, и трижды возвращались ни с чем.

Уваров вздохнул, покосился на Клаузевица, и сказал:



– Ладно, давайте пушки.

Однако как по-своему прав был Клаузевиц, так по-своему оказался прав и Уваров: увидев разворачивающуюся для стрельбы артиллерию, пехота тут же ушла за плотину. Уваров смотрел ей вслед, произнося тихонько какие-то слова – Клаузевиц не раз слышал, как русские офицеры говорят их по разным поводам, но на все просьбы перевести офицеры отвечали отказом и советовали ему эти слова не запоминать.

– А где же Платов?! – вдруг вспомнил Уваров. – Это же он придумал эту экспедицию, а теперь вот пропал?!

Свита его переглянулась. Принц Гессен-Филиппстальский нервно теребил повод – когда они утром с Платовым увидели, что французский берег не прикрыт и французы не ждут удара, ему казалось, что налёт русской кавалерии будет иметь для Наполеона самые катастрофичные последствия. В мечтах принц зашёл так далеко, что сейчас и стыдно ему было вспоминать про те ордена и титулы, которыми он сам себя уже осыпал. «Неужто этим всё и кончится?» – думал он, боясь, что сейчас заплачет от обиды и горя.

– Извините, принц... – вкрадчиво сказал Уваров. – А где же всё-таки ваш командир, атаман Платов?

Принц, как и все, предполагал, где может быть Платов и что с ним может быть. Платов был известным пьяницей русской армии. Хотя любимым вином атамана было цимлянское (водки с нынешней крепостью тогда не было вовсе), но и им атаман ухитрялся накачаться до бесчувствия. На время отступления Багратион, арьергард армии которого составляли казаки Платова, нашёл к атаману подход: зная, что Платов хочет стать графом, сказал, что не видать ему титула, пока он не бросит пить. Во всё время отступления Платов оставался трезвым, но вот вчера, говорили, выпил снова.

«Вот с пьяных глаз и показалось ему, что здесь можно разгуляться! – со злостью думал Уваров, оглядывая местность, действительно мало пригодную для действий кавалерии. – Принц что – в военном отношении младенец, ему представилось, что он сейчас совершит геракловы подвиги, он и рад. Но Платов-то должен понимать»...

– Слушайте, принц, ступайте поищите Платова... – сказал Уваров. – И как найдёте, пусть приедет, чтобы мы могли выработать план совместных действий.

Клаузевиц от нечего делать разглядывал в зрительную



трубку Бородино. В деревне, казалось ему, было около полка пехоты. Но дальше войска виднелись густыми массами – это была вся армия Наполеона. На другой стороне Колочи кипел бой. Клаузевиц пробовал разглядывать и его, но за дымом ничего не было видно.

Один за другим приезжали от Кутузова к Уварову гонцы, выяснявшие перспективы экспедиции, был момент, когда Клаузевиц с удивлением увидел здесь и Толя. По обрывкам фраз и коротким рассказам Клаузевиц понял, что напор неприятеля усилился. «Русская оборона трещит по швам... – думал Клаузевиц. – Кутузов хотел бы, чтобы Уваров и Платов переменили ход всего сражения. Но должен же он понимать, что с таким количеством войск нельзя достичь таких результатов»...

Теперь Клаузевиц даже рад был, что по причине плохого знания им русского языка к нему никто не обращается за советом и даже в разговорах Уварова с русскими офицерами он едва участвует – по мнению Клаузевица, плохой совет мог обойтись дорого, а хороших советов здесь быть не могло.

«Чтобы наша экспедиция имела смысл, во главе её должен был бы стоять какой-нибудь молодой сорви-голова, которому надо ещё завоевать репутацию... – думал Клаузевиц. – Он бы не рассуждал, он бы бросился через ручей, через плотину, и – будь что будет. Мало кто из нас вернулся бы потом на русский берег, но Наполеон мог бы подумать, что ему отсюда и правда грозит серьёзная опасность».

Было уже далеко за полдень, а конница Уварова всё стояла на своем месте в бездействии. Известий о Платове не было. Но вдруг в стороне послышалась стрельба. Все начали тянуть туда головы, сиюсь рассмотреть или понять, что же это. Клаузевиц увидел скачущего к ним всадника – это оказался принц Гессен-Филиппстальский, выглядывший совершенно счастливым: Платов нашёлся!

Правее отряда Уварова показались и казаки. Они налетали на французов, а те выстрелами отмахивались от них, как от мух. Должно быть, в корпусе Уварова решили, что вот теперь началось: лейб-казачий полк, не дожидаясь приказа, бросился через плотину!

– Куда?! Куда?! Да что же это?! – закричал Уваров, в растерянности оглядываясь по сторонам – как бы не кинулись и другие. Рука его то тянулась к сабле, то останавливалась.

Он никак не мог решиться скомандовать атаку и броситься за лейб-казаками – а там будь что будет. Клаузевиц подумал, что Уваров всё же скомандует, но прошло несколько минут и стало ясно – поздно. К тому же вернулись из-за плотины и лейб-казаки – многие были в крови, раненые, а их убитые усеяли всё поле. Уваров и весь его штаб помрачнели.

Клаузевиц понял, что больше скорее всего ничего не будет. Он продолжал разглядывать в трубку поле главного боя, пытаясь угадать, что там происходит. Около трёх часов пополудни от Кутузова прибыл ординарец с приказом Уварову и Платову возвращаться. Клаузевиц увидел, как его генерал понуро склонил голову. Назад ехали в подавленном настроении. (Да ещё французы на прощание решили обстрелять русских из пушек, и одним из ядер принцу Гессен-Филиппстальскому оторвало ногу – по общему мнению, это был уж какая-то очень жестокая шутка). Вернувшись на русский берег, Уваров со свитой поехал к Кутузову. Клаузевиц видел, что Уваров, подойдя к Кутузову, что-то рассказывал. На это Кутузов ответил одной фразой, после которой отвернулся от Уварова и снова уставился вдаль. Клаузевиц попросил кого-то перевести, что сказал Кутузов, и ему перевели: «Я всё видел. Бог тебя простит»...



## Глава двенадцатая

Наполеон наблюдал за битвой с Шевардинского кургана. Утро обрадовало его: левый фланг русских довольно скоро был сбит, а потом взята и в батарее в центре! Он уже думал, что битва решена, как оказалось, что русские отбили батарею, а на левом фланге восстановили фронт по линии оврага. Наполеон понял, что битва будет долгой. Но не это беспокоило его – в конце концов, под Ваграмом битва шла два дня и он победил. Беспокоило другое: русские сражались так, как не сражался ещё никто и никогда.

Он в общем-то не стремился убить как можно больше людей, для него смысл победы заключался в превращении неприятельской армии в толпу живых мертвецов: людей без сил, гордости и решимости, людей, стыдящихся самих себя.

Главной его надеждой было то, что почти трехмесячное отступление и русских измотает душевно так же, как трех-

месячное наступление душевно измотало и опустошило Великую армию – может, не всю, но многих, слишком многих. Наполеон и сам чувствовал, что невероятно устал. Он вспомнил свой спор с Даву, сказавшим, что русских мало убить – их надо ещё и повалить. Выходило, что Даву прав, и даже артиллерия, которой Наполеон обещал повалить русских, не давала эффекта.

«Что же, от них и картечь отскакивает?.. – угрюмо подумал Наполеон. – Не зря, выходит, они молились своему богу».

Он вдруг попытался и сам вспомнить молитву, но тут же ему стало стыдно: «Ага, скажет, вот и ты ко Мне приполз! – подумал Наполеон. – Нет уж. Прости, Господи, но обойдусь без Тебя».

В 10 утра его известили о том, что генерал Монбрэн, командир 2-го кавалерийского корпуса, смертельно ранен. Это было уже после известий о ранениях Дессе, Компана, Раппа, Даву, так что Наполеон только горестно поморщился. Оглянувшись, он подозвал к себе Огюста Коленкура, 35-летнего красавца с обычным в те времена круглым открытым лбом и завитком над ним – словно случайно, этот завиток был похож на такой же завиток надо лбом императора.

– Коленкур, принимай команду над 2-м корпусом и с ним атакуй Большой редут (так французы называли то, что в русской истории называется батареей Раевского). – сказал Наполеон. – Действуй как при Арсобиспо.

Коленкур поклонился, и подождал, пока Бертье напишет приказ. Затем Коленкур подошёл к своему брату Арману, который хоть и был тоже генерал, но уже давно пошёл по дипломатической линии. Армана вдруг поразили глаза брата: Огюст будто видел что-то – страшное, но неизбежное.

– Дело такое жаркое, что я, наверное, тебя больше не увижу... – сказал Огюст Коленкур брату, до которого не сразу доходил смысл этих жутких слов. – Мы добьёмся торжества, или же я буду убит.

И прежде чем Арман успел сказать хоть что-то, Огюст пошёл к лошадям. Арман с побелевшим лицом и пересохшими губами смотрел ему вслед. «Что же делать?! Что же

делать?! – мысли в голове путались. – Остановить? Но как? Да он и не остановится – как же он может не исполнить приказ императора? Неужели он правда *чувствует*? Но разве это бывает *вот так?*». Арман Коленкур участвовал в боях ещё в 1799 году, давно и недолго, сам с предчувствиями смерти не сталкивался, а рассказы о таких предчувствиях слушал с недоверием. Теперь же ему не хотелось верить особенно.

Огюст Коленкур тем временем вскочил на лошадь и понёсся по полю, сопровождаемый своим адъютантом. Он понял, что сказал ему Наполеон, напоминая об Арсобиспо.

Наполеон помнил большие и мелкие эпизоды разных больших и мелких битв, боёв и стычек, как опытный шахматист помнит бесчисленное количество шахматных партий – из этого числа ему остаётся только выбрать то, что в данную минуту сулит победу. При Арсобиспо в Испании в 1809 году Коленкур переправился с отрядом драгун через реку и ударил неприятелю в тыл. Так Наполеон несколькими словами пояснил своему генералу, как он представляет его действия.

Однако даже на шахматной доске редко какая партия играется чисто, без сюрпризов со стороны соперника. На поле боя сюрпризом становится любой ручей, любая пушка, любой решивший держаться до конца неприятельский взвод. Поэтому Коленкур, явившись к командовавшему атаками русского центра Мюрату, рассказал ему о поставленной императором задаче – атаковать редут с тыла, – и уже вместе с Мюратом, его начальником штаба Бельяром, командиром 4-го кавалерийского корпуса Латур-Мобуром, и ещё несколькими офицерами они уставились на курган, почти до самого подножия окутанный пороховым дымом, решая, как же добраться до вершины этого вулкана и удержать его за собой. К этому времени французы уже предприняли несколько кавалерийских атак, но результат это не дало. Мюрат, услышав, что Коленкуру велено атаковать редут с тыла, покрутил головой.

– Это опасная затея! – сказал он. – Хотя в этом есть смысл: когда вы отрежете редут с тыла, мы сможем захватить его с фронта. Вместе с кавалерией Латур-Мобура вам надо будет выйти к редуту с юга, оттеснить русскую пехо-

ту и атаковать редут с фланга. Если русские отобьют вас, возвращайтесь тем же путём.

Коленкур усмехнулся – он чувствовал, что возвращаться не придётся.

– Я буду на редуте, живым или мёртвым! – сказал он Мюрату и тот внимательно посмотрел на него.

– Атакуйте после того, как вам передадут мой приказ... – сказал Мюрат.

Коленкур выехал ко 2-му корпусу, стоявшему южнее под огнём русского укрепления. Старшие офицеры корпуса смотрели на него угрюмо, у молодых адъютантов Монбрена лица были мокры от слёз.

– Не плачьте о нём, а идите отомстить за него! – сказал им Коленкур. – Нам недолго ждать приказа к атаке.

Так и вышло – вскоре приехал гвардейский офицер с приказом. Коленкур собрал полковников и распределил, кому в какой линии следовать. Затем сказал, кому из них принять командование, если он будет убит. Затем сказал главное: «Редут надо взять при первой же атаке...» – он почему-то знал, что до второй не доживёт.

И только когда полковники разъехались по своим частям, Коленкур отъехал в сторону – он знал, что наступили последние минуты его жизни и хотел хоть несколько из них заполнить любовью. Коленкур достал из кармана портрет своей молодой жены. Свадьба их состоялась перед самым походом, в апреле, они и насладиться друг другом не успели. Вчера накануне битвы Коленкур всё смотрел на её портрет, вспоминая её всю – руки, губы, объятия и вздохи, то мурлыканье, которое она издавала в минуты любви. Обычным делом было, когда молодые вдовы, погоревав, выходили замуж. «Неужели и с ней будет так же? – подумал Коленкур, чувствуя ужас – не от того, что вот сейчас он умрёт, а от того, что так быстро он будет забыт той, дороже кого не было у него на свете. – Вот ведь и другие жены так же, наверное, любили своих мужей, а утешились. Впрочем, что же ей – умереть на моей могиле?». Но к мысли о том, что через какое-то время она вот так же будет мурлыкать при прикосновении других, не его, рук, привыкнуть оказалось труднее, чем к мысли о смерти. Он так и не привык к ней, трогая с места коня и крича офицерам:

– За мной! За мной! Да здравствует император!

## Глава тринадцатая

Корпус Раевского к моменту атаки Коленкура был совершенно разгромлен и курган занимали полки 24-й дивизии генерала Петра Гавриловича Лихачёва. Он был постарше многих в русской армии, но в свои 54 года оставался генерал-майором. Причиной тому была, видимо, долгая служба Лихачёва на Кавказе – хотя он сделал там немало, но как раз в эти годы европейский театр войны приковывал к себе всё внимание государя и забирал себе все награды.

На подходах к Бородинскому полю генерал Лихачёв простудился. Он ещё надеялся поправить здоровье ко дню битвы, но вчера вечером понял, что не поправил. Слабость в руку и ногах была такая, что утром, чтобы выйти из палатки, пришлось просить адъютантов помочь. Однако и речи не было о том, чтобы не участвовать в битве.

Полки 24-й дивизия были поставлены вокруг кургана почти сразу после отражения атаки Бонами – уже тогда от корпуса Раевского мало что осталось (Томский полк, участвовавший в атаке, был из состава 24-й дивизии). С этого времени полки находились под артиллерийским огнём – не только с фронта, но и, после взятия французами флешей и продвижения вперёд, с фланга. Потери были огромны. Лихачёв понимал, что по причине слабости не сможет объезжать линию своей дивизии и выбрал для себя место на самом редуте – здесь, в углу укрепления, поставили ему складной стульчик, на который он сел.

Тысячи мертвецов лежали к тому времени на кургане и на подступах к нему. Кавалерия ходила в атаку по ковру из человеческих тел и, отбитая огнём, возвращалась, устилая на этот ковёр новый слой.

Лихачёв сидел на своем стульчике, иногда сам удивляясь тому, как он ещё жив. Неподалеку, впереди от него, орудовали артиллеристы. То и дело кого-то из них ранило или убивало, но у артиллеристов не пропадало весёлое настроение, а может, от этого оно делалось ещё веселее. Вдруг взрыв грянул совсем рядом с одной из пушек, и Лихачёв увидел, как один из пушкарей с криком катается по земле, зажимая правой рукой левое плечо, из которого хлестала кровь.левой руки у него не было.

– Рученька моя, рученька! – кричал солдат.

К нему бросились двое других солдат, потащили подаль-

ше от орудия, и, когда они проходили мимо, Лихачёв услышал, как один артиллерист говорит раненому:

– Жаль твою рученьку, а вон смотри, Усова-то совсем повалило, а он и то ничего не говорит!

Лихачёв оглянулся – возле пушки, заброшенный землёй, лежал ещё один артиллерист, должно быть тот самый Усов.

«Жизнь – шутки, и смерть – шутки... – подумал Лихачёв. – Кому скажи – не поверят».

Тут он уловил какую-то перемену в тоне артиллерийской стрельбы, как бывает слышно по шуму дождя за окном, стал ли он сильнее или слабее. «Добавили что ли пушек? – подумал он. – Не к добру».

– Михайло Иванович, – позвал он к себе адъютанта. – Прикажете сказать в полках, что сейчас, видать, опять пойдут...

Это был тот самый момент, когда на русский центр обрушился огонь 150 пушек, а Коленкур во главе 34 полков кавалерии двинулся вперёд. Атака на этот раз была такой силы, что французы прорвали русский фронт. Построенные в каре полки 24-й дивизии стреляли во все стороны, но кавалерия, не обращая на них внимания, частью бросилась по склону кургана наверх, частью продолжила движение вперёд, расширяя прорыв.

Коленкур был во главе 5-го кирасирского полка, атаковавшего курган. Перед глазами у Коленкура мелькали русские солдаты, силившиеся достать кавалеристов штыками. Лошадь его хрипела, она озверела от запаха крови и сейчас неслась так, что её было не остановить. Кирасиры шли линиями, пригнувшись к лошадиным гривам и подняв палаши высоко над головой. Коленкур увидел разломанный палисад, из которого клубами валил дым. Всадники бросались прямо в этот дым и пропадали там. Коленкур пришпорил коня, хотя тот и не нуждался в этом. И тут, в нескольких шагах от себя, Коленкур увидел русского, целившего ему прямо в лоб. Он даже успел его немного разглядеть: закопченный, с чёрным измазанным лицом и чистыми синими глазами, Коленкур ещё удивился – совсем как у его жены... Солдат выстрелил и Коленкур ещё успел увидеть этот дымок, а затем мир пропал для Коленкура навсегда...

Барклай находился позади русского центра и видел, как массы французской кавалерии частью захлестнули Шульманову батарею, а частью разлились по полю. Момент был

критический, но Барклай готовился к нему. Напротив центра была поставлена вызванная из резерва 1-я кирасирская дивизия гвардейской кавалерии генерала Бороздина, и едва корпуса Коленкура и Латур-Мобура прошли через русскую пехоту, Барклай сам повёл дивизию против них, надеясь хоть сейчас встретить свою пулю. Началась страшная схватка. Тысячи латников бросались друг на друга. Солнце сияло на касках, палаши гремели о кирасы. Издалека от свалки слышен был странный звук: звон, скрежет и крики. По полю носились сотни лошадей, целые табуны лошадей без всадников. Вырвавшиеся из свалки полки, как русские, так и французы, собирались, строились и снова шли в атаку. Исступление достигло предела. Русский генерал Киприан Крейц, командир драгунской бригады, к двум часам пополудни был ранен уже трижды, но приказал адъютантам посадить его на лошадь и снова повёл в атаку свои поредевшие полки. Они схлестнулись с французской конницей, и Крейца в схватке ранили ещё три раза – порубили и искололи. Только после этого его унесли в лазарет. Однако полки из бригады Крейца остались на месте – они тоже знали, что «всякий человек теперь нужен». В пятом часу вечера остатки дивизии Бороздина и кавалерийские корпуса генерала Фёдора Корфа пошли в атаку на французов. Возможно, именно в этот момент и решалась судьба битвы. Конница Коленкура и Латур-Мобура была рассеяна. После этого Корф собрал тех, кто ещё мог держать оружие и приказал удерживать место за собой, стоять и умирать, умирать, но стоять.



## Глава четырнадцатая

После ранения Багратиона и потери флешей русская линия составила по правому берегу Семёновского оврага, где стояла гвардейская бригада генерала Матвея Храповицкого. Бригада эта была отправлена на левый фланг ещё утром, после того, как Багратион, видя после первой атаки чрезвычайное усиление неприятеля (во вторую атаку на флешу пошли сразу три дивизии Нея) послал за подкреплениями. Гвардейские резервы стояли в центре – потому и успели.

Вместе с бригадой Храповицкого, состоявшей из лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков, к Багратиону были отправлены сводные гренадерские батальоны князя Кантакузена, лейб-гвардии Финляндский полк и две роты артиллерии. По дороге отряд встретил икону Смоленской Божией Матери, стоявшую за войсками. Храповицкий, хоть время было дорого, приказал остановиться и молиться – верил, что за время, потраченное на молитву, Господь не допустит случиться плохому. Полки скинули шапки и встали на колени, только офицеры остались на лошадях.

– Спаси, Господи, люди Твоя и благослови принадлежащих Тебе, помогая побеждать врагов и сохраняя силою Креста Твоего святую Церковь Твою! – загудел басом дьякон, размахивая кадилом. Ещё с самого темного утра несколько священников встали с иконой позади линии войск и непрерывно молились, чтобы Господь укрепил русских и даровал им победу. Кругом сыпались ядра, а священники всё были живы и почти не удивлялись этому. В разных битвах не раз и не два бывало, когда священники, подняв над собой крест, вели в атаку замешкавшиеся полки и пуля их не брала – берёт Господь. Сбережёт и сейчас. А призовет к себе – ну значит, на всё Его воля.

– Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас! – загудел дьякон и за ним эти слова стали повторять все полки. – Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас! Святой Боже, святой Крепкий, Святой Безсмертный, помилуй нас!

«Помилуй нас!» – повторил в этот миг каждый, но молился не о себе: «нас» в этот день была армия, Россия, а «помилуй» – помоги выстоять, дай сил победить. Когда полки снова тронулись в путь, это были уже другие люди – смерти не было для них и жизнь потеряла ту цену, которую обычно видят за ней люди. Отряд шёл сквозь ядра, вырывавшие из строя целые ряды, и не замечал этого. Упавшие раненые благословляли своих друзей и молились за них, пока были силы.

Когда отряд Храповицкого пришёл к Семёновскому, Багратион был уже ранен, а fleши остались за французами. На левом фланге всем распорядился граф Сен-При, которому до ранения оставались считанные минуты. Бригада Кантакузена по его приказу перешла овраг – Сен-При наде-

ялся её штыками удержать продолжающего наступление неприятеля. Бригаде Храповицкого велено было встать за Семёновским оврагом.

Полковнику гвардии Матвею Храповицкому было 28 лет и почти половину этой жизни он провел на войне. В отличие от большинства русских офицеров, много воевавших с турками, Храповицкий только с французами и сражался: ещё 15-летним пажом великого князя Константина он попал в Итальянский поход и за отличие в битве при Треббии получил свой первый офицерский чин. В 19 лет он был уже полковник лейб-гвардии Измайловского полка. При Аустерлице, когда император Александр, надеясь на чудо, приказал батальону Храповицкого отбить Праценские высоты, батальон пошёл вперёд с развернутыми знамёнами и музыкой. Эту атаку помнили многие, она, как и атака кавалергардов, скрашивала позор Аустерлица. С 1799 года служил Храповицкий в лейб-гвардии Измайловском полку, командовал им и только в июле назначен был одновременно и командиром гвардейской бригады. Измайловцы ревновали своего полковника – не больше ли внимания от него будет литовцам? Храповицкий помнил это и старался делить внимание поровну. Нынче это означало делить поровну смерть: хотя Литовскому полку, как младшему, полагалось идти впереди, но Храповицкий, дабы никто не думал, что он даёт измайловцам поблажку, поставил в первой линии по батальону обоих полков.

«В такой момент – такие церемонии... – всё же усмехнулся он при этом про себя. – Не всё ли равно – в таком бою смерти на всех хватит»...

Уже по дороге сюда ядрами и гранатами вокруг него побило несколько человек, а шедшему рядом с командиром барабанному старосте Корельскому оторвало обе ноги. Храповицкий думал, что и с ним случится что-то, не может же пронести, но думал как не о себе – так подействовала и на него молитва у иконы Смоленской Богородицы. «Совсем страха нет... – с удивлением думал, проверяя себя. – Совсем. Как не на войне. А ведь всегда чуток, да боялся»...

Он посмотрел на поле, туда, где должны были быть fleши. Над левым крылом русской армии тучей стоял дым, от чего кругом было темно, будто собиралась гроза. Fleши едва видны были за дымами. Ушедшая к ним бригада Кантакузена пропала в темноте. Время от времени оттуда по-

являлись люди – по одному, по два, группами. Кто-то был ранен, а кто-то и цел, но совершенно – Храповицкий видел по лицам и глазам – опустошён. Не раненых останавливали, ставили в строй и приводили в чувство – словами и водкой.

Храповицкий вдруг увидел мчащегося во весь опор всадника. Он подъехал ближе, разглядев Храповицкого по золоту эполет. Храповицкий узнал его: это был Сипягин, флигель-адъютант, состоявший при Багратионе ординарцем. Несмотря на холодный день, Сипягин был весь в поту, взъерошен, в изорванном мундире.

– Матвей Евграфович, неприятельская кавалерия несётся на вас! – проговорил Сипягин. – Вон оттуда! Массой идут!

Храповицкий понял – началось.

– Строиться в каре против кавалерии по-батальонно эн-ашикье! – закричал он. Забили барабаны, ординарцы бросились к батальонам, крича на скаку: «В каре против кавалерии!». Масса войск пришла в движение, шеренги превращались в ровные квадраты, расставленные в шахматном порядке – чтобы доставать кавалерию огнём даже когда она проедет между каре.

– Прикажите подойти ближе к берегу оврага... – сказал Сипягин. – Через овраг конница не враз перескочит, лошади собьют аллюр и если вы будете стоять близко, то они не успеют снова разогнаться.

Это было резонно. По команде каре сделали несколько шагов вперёд и замерли в пятидесяти шагах от обрыва. Вдруг луч солнца прорезал пороховую тучу и от него блеснули уже совсем не вдалеке медные доспехи – это шли саксонские кирасиры Тильмана. В батальонах закричали офицеры – Храповицкий знал, что это они подбадривают солдат. Храповицкий был при 2-м батальоне измайловцев и слышал, как его командир полковник Филатов кричит солдатам: «Сегодня вы разделяетесь с французами, а кто начнёт стрельбу без команды, с тем я разделаюсь завтра!».

Медная стена саксонских кирасир неслась прямо на гвардейцев. Кирасиры все как на подбор были на карих лошадях, только командиры по флангам на белых. Храповицкий смотрел на неприятеля, хмурия своё холёное, с твердым подбородком и полными губами, лицо. Вдруг он просветлел: саксонцы наткнулись на овраг и – Сипягин был прав – мах лошадей сбился. Колонна стала переезжать овраг,

всадники выскакивали на русский берег, и когда их скопилось побольше, Храповицкий закричал: «Огонь!!». Страшный залп грянул, мир вокруг Храповицкого на мгновение потонул в дыму и страшном общем крике-вздохе – кричали люди, лошади.

– Держись, гвардейцы! – закричал и сам Храповицкий, хотя знал, что и без него есть кому кричать: офицеры командовали огнём, залп гремел за залпом, а потом началась частая одиночная пальба, когда каждый выцеливал себе своего. Сквозь дым и пыль стало видно, что конница рассеена, атака не вышла, и уцелевшие убираются вспять. «Не так страшен чёрт»... – подумал Храповицкий.

– Перестраивайтесь из эн-ашикье в уступный порядок! – прокричал он полковнику Ивану Козлянинову, командовавшему Измайловским полком вместо него, толстому, с двумя подбородками, лежащими на воротнике мундира, и с выпяченными губами. Козлянинов закричал приказ дальше. Масса войск снова пришла в движение. Но и с той стороны за этим следили – Тильман заметил перестроение и решил атаковать в этот момент. Трубы у саксонцев запели «атаку», всадники воротили коней, на ходу создавая атакующую массу.

«Ловок, французская собака!» – подумал Храповицкий и закричал:

– Остановить перестроение, встречать неприятеля!

Литовский и Измайловский полки замерли, кто как был. Минута была роковая. Солдаты уперлись ногами в землю, словно надеясь своими телами остановить огромную массу людей и лошадей. Однако овраг снова помог – саксонцы расстроились ещё до атаки и, будучи обстреляны, отступили. 2-й батальон Литовского полка вдруг бросился за саксонцами вслед и начал стрелять им в спину, а упавших добивать штыками. Храповицкий пришпорил коня и поскакал к литовцам. Командира батальона подполковника Василия Тимофеева он нашёл среди солдат – с адъютантами и трубачами он собирал батальон, увлекшийся резнёй кирасир, особенно привлекательной тем, что кирасиры, упав на землю, из-за своих тяжёлых лат становились беспомощны, словно перевёрнутые на спину жуки.

– Быстрее собирайте людей! – прокричал Храповицкий. – Быстрее!



Литовцы возвращались в строй. Храповицкий оказался в этом каре. Тимофеев рядом с ним вытирал платком пот со лба. Он и Храповицкий посмотрели друг на друга и рассмеялись.

– Как же это вам, Василий Иванович, в голову пришло гнать кавалерию штыками? – спросил Храповицкий. – В истории войн такого не было.

– Теперь будет.. – отвечал Тимофеев. – Да не мне это пришло – солдаты сами пошли. Накопилось, видать... Да мы и атаку отбили без выстрелов – приказал я солдатам водить штыками перед лошадиными мордами, а если кто подъедет близко, то колоть лошадей в морду. Лошадь сама на штык не прыгнет, это только если массой идут, разогнались и сзади подпирают. А тут они разгон потеряли. Хотели они нас атаковать, начали уже выстраиваться для атаки на нашем берегу, но тут мы на них и бросились! Век бы так воевал!

Лицо Тимофеева было счастливым. Солдаты вокруг хохотали, вспоминая подробности необычайной схватки с неприятелем – до сих пор не доводилось ходить на кавалерию в штыки.

– Поздравляю вас, господин подполковник! И спокоен за это место, пока на нём ваш батальон под вашей командой! – громко сказал ему Храповицкий, зная, как много значат такие слова, сказанные в такую минуту. Тимофеев тоже почувствовал важность момента, выпрямился и отдал честь.

Оба они увидели, как через ручей переезжает небольшая группа конников в русских штаб-офицерских мундирах и в шляпах с перьями. Храповицкий откланялся Тимофееву и поскакал узнать, кого это принесло по его душу. Оказалось, это приехал Коновницын с остатками своего штаба и своих ординарцев.

– Всё! Никого нет, Матвей Евграфович, совсем никого! – не со страхом или с ужасом, а с детским удивлением говорил ему Коновницын, которому словно и правда странно было, куда же все – Багратион, Воронцов, Сен-При, Неверовский и многие, многие другие – подевались. – Будто метлой сметает людей! Такой день! Вот Кантакузена бригада и часа нет как пришла – а ведь нет уже из неё никого, и самого князя Григория Матвеевича убило возле меня!

И опять в этих страшных словах не было страха, а было только изумление. Коновницын вдруг улыбнулся, поднял разговорщицки палец и повернулся к Храповицкому задом.

– Видите?! – как-то даже ликующе спросил Коновницын.

– Что? – удивленно спросил Храповицкий, не понимавший, что он должен видеть.

– Да вот же, вот – фалды мундира мне ядром оторвало! Вот это курioз! – проговорил Коновницын, сияя. Храповицкий и правда увидел, что полы мундира оторваны. «Да как же тебе задницу-то не оторвало?! – с удивлением подумал Храповицкий. – Вот был бы «курioз». Только ты бы уже не смеялся»...

Странности Коновницына, который был не совсем от мира сего, были известны в армии. Но, как всегда бывает на войне, тому, кто в бою не теряет головы, прощалось всё. Коновницын же головы не терял. Храбрость его происходила от детского неверия в смерть и от того, что всё вокруг он воспринимал, будто читал книжку – зная, что вот-вот, как надоест, он её закроет и пойдет пить чай с булочками. Страшное он забывал почти сразу, как оно кончалось. Вот и сейчас атаку, перед которой Багратион простился с ним, он уже едва помнил, хотя с тех пор прошло меньше двух часов. По такому счастливому устройству его психики ужасы войны не действовали на него. Он и командовал немного по-детски, удивляясь в душе, что ему повинуются и что после его слов приходят в движение массы войск. После Бородины он отослал свой мундир с оторванными фалдами домой к жене – хотел, чтобы и она посмеялась над «курioзом». Жена долго плакала над этим мундиром вместе со всеми коновницынскими слугами.

Храповицкий сумрачно смотрел на Коновницына и гадал, не сошёл ли тот с ума. Думать об этом долго не было, впрочем, времени – доложили, что на полк снова идёт кавалерия. Это был тот страшный момент, когда на Измайловский полк пущены были конные гренaдеры, а на Литовский – кирасиры генерала Нансути, которых Наполеон называл «железные люди». Однако две уже отбитых атаки подбодрили людей, да и овраг снова помог – отбили и конно-гренaдер, и железных людей Нансути. Гвардейцы выбегали из строя и напоследок кололи «железных лю-

дей» штыком в бок. Кирасиры – не такие уж они были и железные – валились замертво.

Поняв, что кавалерия не пугает русских, французы выставили напротив 80-орудийную батарею. Ещё когда она начала выезжать на позицию, Храповицкий увидел, как напряглись лица у его солдат и офицеров – в сущности, это было то же самое, как видеть приготовления к своему расстрелу. Потом французы начали стрелять. Храповицкий к этому времени снова переехал в каре 2-го батальона Измайловского полка. Здесь же был Коновницын. Ребёнок в нём, видимо, устал и уснул – Коновницын поскущел и только иногда, когда ядра вырывали из рядов людей, кричал вместе с другими офицерами «Сомкните ряды!» (солдаты смыкались и сами, но надо же было хоть что-то делать). Иногда они с Храповицким объезжали батальоны, подбадривая людей. Солдаты в ответ кричали «Ура!» и бывало, что грохот разрыва приходился на самое это «ура!» и не всем, кто начал, доводилось его докричать.

Храповицкий с Коновницыным были как раз у батальона подполковника Тимофеева, как вдруг кто-то из офицеров указал им на французскую пехоту, явно намеревавшуюся занять высоту невдалеке, с которой потом можно было бы расстреливать русских продольно. Коновницын совсем как дитя закричал: «Боже! Что делать?», и начал растерянно оглядываться вокруг. Храповицкий с удивлением глянул на него и потом распорядился идти батальону к высоте, занять её и удерживать.

Русские успели выйти раньше французов. Обосновавшись на высоте, Тимофеев оттуда увидел, в каких силах неприятель идёт к нему, пересчитал батальонные колонны – вышло, что французов больше шестеро. Тимофеев, чтобы создать видимость большого войска, построил резервные два взвода в одну линию, причем не в три, а в две шеренги. Когда французы пошли, взводы шагнули вперёд так, чтобы французы могли видеть только верхушки их киверов. Французы, полагая за высотой большие русские резервы, остановились и открыли перестрелку. Долго эта игра в солдатика продолжаться не могла, но Тимофеев понимал, что сейчас и минута важна, а там может что и придумается. Но потом сначала был ранен Тимофеев, потом – капитан Арцыбашев, которому подполковник сдал батальон.



Литовцы отступили с высоты в кустарник, французы заняли высоту и начали оттуда палить русским во фланг. Тогда решено было высоту отнять. Остававшийся старшим в Литовском полку подполковник Шварц пошёл с 1-м батальоном литовцев в атаку, в самом начале которой Шварц был ранен в руку и в живот, но приказал нести себя впереди батальона. Двое солдат скрестили ружья и несли его, глядя, как сереет его лицо и мутнеют глаза. Он был ещё жив, когда они взяли эту высоту. Скоро на неё перёшел весь полк, а к вечеру к нему подошли Измайловский и Финляндский полки. С измайловцами не было уже ни Храповицкого, ни Козлянинова, ни принявшего полк после них полковника Мусина-Пушкина 1-го – всех уже вынесли с поля боя ранеными. Команду принял полковник Александр Кутузов, человек с поджатыми губами и жестким выражением лица. Под Аустерлицем он был ранен в левую руку, под Фридрихсдорфом – в правое плечо. «Куда-то сейчас?» – думал он время от времени, стоя на своём месте, в осыпаемых неприятельским чугуном рядах. К этому времени во всех трёх полках было чуть больше тысячи человек – в строю оставался один из шести. Не было ни рот, ни батальонов – были только знамёна, и люди, решившие умереть под ними на этом месте. Французская конница время от времени бросалась на гвардейцев, и тогда артиллерия прекращала стрелять. Это время считалось у гвардейцев отдыхом.



## Глава пятнадцатая

Шульманова батарея оказалась последним трофеем французов, но оказалось, что обладание ею не даёт ничего. Однако поначалу Наполеон ещё не понял этого. Наоборот, он предполагал, что всё снова, как и утром, пошло хорошо: русский центр прорван, остаётся их только добить. Жаль только было беднягу Коленкура. Наполеон поморщился, представляя, каково сейчас его брату, Арману, но по привычке легко относиться к смерти, так и не смог представить. Наполеон спросил Армана Коленкура, хочет ли тот уйти? Коленкур сказал, что останется. Наполеон понимал его – от мыслей не убежать, и в палатке Коленкура был бы так же плохо, как и на командном пункте.

Ночная простуда вроде бы прошла, вернее, Наполеон старался думать, что она прошла. Но теперь болел бок, как бывает, когда из почек просятся камни. Наполеон пытался засунуть эту боль в какой-нибудь дальний ящик своего сознания, но это получалось не всегда. Наполеон не знал, как бы устроиться – пытался ходить, стоять, сидеть согнувшись. Иногда становилось легче, почти хорошо, но потом боль накатывала так, что взгляд его обесмысливался.

Ему передали, что на редуте взят в плен русский генерал. Наполеон обрадовался – в такой битве должны же были кого-нибудь взять. Скоро привели Лихачёва. Ничего особо героического не было в этом обычном лице с мягкими губами, между тем Наполеону сказали, что при захвате батареи этот генерал со шпагой в руках пошёл навстречу французам и только чудом остался жив. Это, впрочем, было заметно: из восьми ран у Лихачёва сочилась кровь, пропитавшая зелёный мундир так, что он казался чёрным.

– Принесите мне его шпагу... – сказал Наполеон адъютантам, предвкушая момент: он решил вернуть оружие герою. С таких эпизодов обычно писались картины и Наполеон уже подумал, что надо будет заказать её Давиду: «И назвать её «После победы в битве у ворот Москвы император возвращает шпагу русскому герою» – примерно так!».

Однако со шпагой вышло нехорошо: русский отказался её брать. (По ошибке Наполеону принесли не ту шпагу и Лихачёв, когда Наполеон принялся её ему вручать, не понял, почему вдруг французский император даёт ему чужое оружие. «На службу что ли к себе зовёт?!» – подумал Лихачёв). Картина не получилась, заказывать Давиду было нечего. Наполеон обиделся – обычно все считали большой честью, когда столь великий воин, как он, возвращал шпагу в знак признания за своими противниками мужества и геройства. Русский же отказался, будто говоря, что в признании Наполеона не нуждается. «Он глупец!» – сказал Наполеон свите и некоторое время дулся как дитя. Но потом любопытство взяло своё: он начал спрашивать Лихачёва о том, правда ли русские заключили с турками мир и есть ли вероятность, что войска, воевавшие с турками, будут теперь выведены к этому театру военных действий.

Эта беседа не так уж и занимала Наполеона – на самом деле он напряжённо ждал новостей с поля боя и разговором просто хотел скрыть свое напряжение. Он надеялся,

что вот-вот приедет чей-нибудь – Мюрата или Нея – адъютант, который ещё издалека будет кричать: «Сир, они бегут! Они бегут!» Так часто бывало, почему бы так не быть и сейчас? Но адъютант всё не приезжал.

Да к тому же и штаб его, Наполеон чувствовал это, всё сильнее наполнялся недовольством. Наполеон понимал, чего от него ждут – гвардию. Призывы пустить гвардию в дело поступали ему весь день: сначала это предложил Мюрата, и Наполеон уже было согласился, но Бессьер, начальник гвардейской кавалерии, куда-то пропал, и пока его искали, решимость императора прошла. Потом о гвардии молил Ней, опрокинувший русских к Семёновскому оврагу, но уже не имевший сил, чтобы перейти его. Потом снова от Мюрата приехал генерал Бельяр, начальник его штаба.

– Сир, с нашей позиции мы видим дорогу на Можайск – по ней толпою идут беглецы и едут повозки с ранеными! Русские бегут, сир! – убеждал его Бельяр. – Достаточно одной атаки, одного приступа, чтобы решить судьбу армии и всей войны!

Бельяр ждал, что после этих его слов Наполеон сверкнёт глазами и скажет: «Гвардию в огонь!». Все вокруг ждали этого. Но приезд Бельяра как раз пришёлся на приступ боли в почках. Наполеон странно посмотрел на Бельяра и сказал:

– Ещё ничего не выяснилось. Прежде чем принять решение, я должен видеть расположение фигур на шахматной доске...

Бельяра поразили тусклые глаза императора, его тихий, без обычной энергии, голос, и страдальческое выражение лица. Вернувшись к Мюрату, Бельяр сказал, что гвардии не будет и император не похож сам на себя. Узнавший об этом Ней проскрежетал: «Что он делает в тылу? Оттуда он не видит наших побед, ему докладывают только о поражениях. Если он больше не генерал, а только император, если он устал, пусть едет в Париж, мы справимся без него!»...

Потом императору стало легче. Поняв, что гонец с известием о бегстве русских не приедет, Наполеон решил, наконец, покинуть Шевардино и подъехать ближе к полю боя. Он поехал вдоль всей линии – от флешей к кургану, откуда видны были русские войска и последнее остававшееся у них укрепление – редут у деревни Горки. Императору так хотелось подъехать поближе к русским боевым порядкам,



что один из генералов в конце концов просто взял его за руку и утащил из передовых стрелковых цепей.

Лошади императорской свиты пробирались через горы мертвецов. Наполеон иногда замечал кого-то из них. Вот русский знаменосец, завернувшийся в знамя и вроде бы ещё живой. Император приказал поднять его, чтобы спасти храбреца, но в тот самый момент, как к нему прикоснулись, он выдохнул в последний раз и умолк навсегда. Мёртвые и раненые лежали так тесно, что лошадям при всей их осторожности было трудно выбирать путь. Когда чья-то свитская лошадь наступила на ещё живого солдата и тот закричал, Наполеон вышел из себя.

– Кто там ездит по людям? – прокричал он.

– Сир, лошадь оступилась, но это всего лишь русский...  
– отвечал ему один из штабных.

Наполеон вскипел:

– Русский или француз, я хочу, чтобы с поля вынесли всех раненых! – прокричал он.

Штабные недоуменно переглянулись – что с ним? А с ним и правда творилось неладное. Наполеон вдруг понял, что не победил, а значит с этой битвой не кончилось ничего, а как бы даже не заново началось. Не приходится ждать наутро парламентёров с предложением мира – как бы вместо этого не начался завтра новый бой.

– Вы предлагаете мне пустить в дело гвардию? – спросил Наполеон, глядя на Бертье, хотя как раз он-то ничего не предлагал. – Но с чем тогда я буду сражаться завтра?!

Бертье подумал, что его повелитель не в себе и промолчал.

## Глава шестнадцатая

Николай Муравьёв медленно ехал по полю боя, вглядываясь в лица лежавших повсюду мёртвых и живых. Час назад приехал в Горки, где Муравьёв состоял при Главной квартире, адъютант Беннигсена Голицын по прозвищу Рыжий и, показывая на кровь на своей бурке, сказал, что это кровь Михайлы Муравьёва, который рядом с ним был сбит ядром с лошади. Николай, хоть и удержался на ногах, но понял, как женщины на балу лишаются чувств.

Александр Муравьев, состоявший при Барклае, был тут же. Оба сразу отпросились у своих начальников и поехали искать брата. Это был как раз тот момент, когда после захвата Шульмановой батареи потоки французской конницы вырвались на простор и столкнулись с русской гвардейской кавалерией. Николай оказался как раз на середине поля, на которое с одной стороны въезжали русские, с другой французы. Но настолько ему безразлично было всё, кроме жизни брата, что он даже не почувствовал страха. Тысячи людей рубили друг друга вокруг него, а он лишь смотрел на них с недоумением – чем они занимаются? Он и правда вдруг перестал понимать этот мир.

После он поехал на русский левый фланг и ходил там по полю, заглядывая в лица мёртвым и раненым. Он видел издалека каре Храповицкого, а французские кирасиры ехали мимо, удивлённо глядя на русского офицера – и снова ему даже в голову не пришло, что он может быть убит или взят в плен. И здесь он не нашёл Михаила. Тогда он отправился в Татарки, на перевязочный пункт, и там искал его, снова заглядывая в лица и пытаясь узнать родной голос в столах и криках. В Татарках встретился он с Александром, который тоже нигде Михайлу не отыскал.

– Что же мы отцу-то скажем? – проговорил Николай. Александр не ответил ничего. Оба вернулись в Горки. Глядя на их лица, никто не решился спрашивать, чем кончились поиски – и так было всё ясно.

Невидящими глазами Муравьев 2-й смотрел на поле битвы. Рядом с ним смеялись люди – «как можно смеяться сейчас?» – подумал Муравьев и повернулся посмотреть, над чем смеются. В кругу офицеров стоял молодой человек с модно причесанными золотыми волосами и в очках, в чёрном мундире с золотыми эполетами и аксельбантом, и с высокой медвежьей шапкой в руках.

– Эта шапка чуть не стоила мне жизни! – взхлёб рассказывал молодой человек. – Утром подъехал ко мне офицер и говорит, что только что остановил казака, который уже разогнался на меня с пикой! «Ишь, – говорит, – куда врезался проклятый француз!». А потом, уже после того, как по всей армии известили, что в плен взят Мюрат, ехал я с Бибиковым, а навстречу нам офицер, и спрашивает Бибикова: «Слышал ты, что взят в плен Мюрат?». Тот говорит: «Слышал». А он: «А это ты кого ведёшь?». Он решил, что я француз!..

Все захохотали. Хохотали тем громче, что понимали, что имеют право на этот хохот: день кончался, а русская армия была жива, она выстояла, и хохочущие над рассказом Вяземского (а это был он) офицеры, и сам Вяземский понимали, что вот так и ведут себя в конце такого страшного дня непобедимые герои: шутят и хохочут. Они хотели бы, чтобы их хохот донесся сейчас до Наполеона, потому что знали, что он прозвучит для него пострашнее орудийной канонады. «Мы живы! – говорили эти люди самим себе и всему миру вокруг. – Мы живы, Господи!»...

Вяземский, улыбавшийся всем сквозь очки, думал сейчас, как же это он остался жив весь этот день? Под ним были ранены две лошади, и после того, как пуля попала в первую, он испытал вдруг какую-то радость: как же – вот и он теперь обстрелянный офицер! Правда, тут же он спохватился и сказал себе, что ранена-то лошадь, а не он, но сразу и утешил себя тем, что и он был в опасности, и он мог быть ранен. «Даже и пусть бы меня ранило! – подумал Вяземский, но тут же ему стало боязно, и он прибавил: – Только уж как-нибудь так, в руку или ногу, навывлет, не тяжело, а только чтобы закалилась на мне память о Бородинской битве».

Ему, однако, повезло – за весь день его не ранило ни разу. (А вот тот самый Бибиков, который дал ему вторую лошадь и о котором он сейчас рассказывал, был потом послан с приказом к принцу Евгению Виртембергскому и там потерял руку: показывал принцу направление атаки рукой, которую тут же оторвало ядром. Бибиков, клонясь с лошади, снова показал принцу, куда идти – только уже другой рукой. Вяземский про это несчастье товарища ещё не знал).

Муравьёв смотрел на Вяземского и завидовал ему. Он тоже хотел бы так стоять сейчас и рассказывать истории о своих подвигах, пусть и привирать – на то и война. Но мысли о брате Михайле не отпускали его. «Зачем же ты напросился с нами? – думал Николай. – И зачем мы взяли тебя?»... Сбоку вдруг произошло движение. Николай повернулся и увидел Кутузова и вокруг него почти всех генералов, в том числе и Баркляя. Все то и дело смотрели в зрительные трубки вдаль. Тут Муравьёв подумал, что уже давно не атакуют французы, а только палят из пушек. Исскла, стало быть их сила?

Кутузов подозвал к себе адъютанта и стал диктовать ему, громко, так, чтобы слышали все вокруг:

– Пиши Дохтурову приказ: «Я из всех неприятельских движений вижу, что он не менее нас ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уже дело с ним, решился я сегодня все войска устроить в порядок, снабдив артиллерию новыми зарядами, завтра возобновить сражение с неприятелем!»...

При последних словах штабные загудели радостно. Муравьёв тоже почувствовал какое-то удовольствие – а обломал Наполеон зубы об русскую армию, и об него, Николая Муравьёва, тоже выходит, обломал. И об брата Михайлу – тоже... «Надо будет вечером, пока видно, поехать его снова искать. Иначе завтра будет битва – затопчут совсем»...

## Глава семнадцатая

Михаил Муравьёв в этот момент лежал в телеге, которая по Новой Смоленской дороге везла его в Можайск. Он был так слаб, что даже когда увидел знакомых ему слуг, не смог подать голос.

Его ранило ещё днём, когда Беннигсен, в свите которого состоял Михаил, приехал на Шульманову батарею. Батарею и подступы к ней занимала дивизия Лихачёва, погибавшая под огнём. Беннигсен сумрачно смотрел на всё вокруг: ядра сыпались на русскую пехоту даже без секундного перерыва. Беннигсен со своим штабом остановился перед войсками и стал заниматься пустяками – смотрел в трубу на французскую сторону, что-то выглядывал по карте. Все знали, что это пустяки, и он знал, и офицеры, и солдаты. И все понимали, почему он это делает – чтобы показать, что в этом месте можно жить.

Денис Давыдов, видевший Беннигсена в сражении при Прейсиш-Эйлау, записал: «Среди бури ревущих ядер и лопавшихся гранат, посреди упавших и падавших людей и лошадей, окружённый сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннигсен, как знамя чести». Ледяное хладнокровие было у Беннигсена от природы, да ещё и вытреновано за долгие годы службы, начавшейся ещё в Семилетнюю войну, когда Беннигсену было 14 лет. Бенниг-



сен держался так, будто ничего этого – непрерывно сыплющихся вокруг ядер, взрывов, криков раненых и погибавших, запаха пороха и особенно густых паров крови – нет вокруг. Только взгляд у него стал жутким – это были те же глаза, в которых император Павел прочёл когда-то свой приговор. Внешне же он вёл себя так, как вёл бы себя на берегу тихой реки, любуясь на закат.

Поэтому когда в его свиту ухнуло ядро, разорвавшись где-то за спиной Беннигсена, он только медленно повернулся и глянул назад краем глаза, будто и неважно было, кто уцелел, а кто нет.

Именно это ядро попало в грудь лошади Михаила, и пробив всю тушу, выскочило через левый бок, ободрав мясо с бедра Михаила так, что видна была кость. Муравьёв отлетел с падавшей лошади в сторону. От всего – от раны и удара об землю – он впал в беспамятство. Придя в себя, Михаил долго не мог понять, где он и что за люди лежат вокруг.

«Да это мертвецы! – подумал он, он совершенно не помня того мгновения, когда под ним убило лошадь и ещё не чувствуя боли. – Но я-то почему среди мертвецов? Я-то живой! И что с моей лошадьё?»..

Он с удивлением посмотрел на свою лошадь, лежавшую неподалеку, не понимая, почему она лежит и что с ней. Тут Муравьёв попытался встать и сразу же страшная боль ослепила его и повалила на землю. «Так я ранен... – подумал Михаил. – Слава Богу!». Он увидел свою ногу в крови, разглядел даже белеющую кость, но даже это совершенно не напугало его. Вместо ужаса он вдруг почувствовал странное удовольствие: у него теперь был законный повод оставить армию. «Неужели всё это наконец-то кончится для меня? – думал Муравьёв, не веря своему *счастью*. – Да даже если и помру – лишь бы кончилось. Нет сил, нет сил».

Он поднял голову от земли. Неподалёку от него сидел на лошади Беннигсен.

- Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство! – как мог «закричал» Муравьёв.

Беннигсен по счастью услышал эти странные звуки, несшиеся откуда-то снизу и удивленно посмотрел туда. Он встретился глазами с Муравьёвым и Муравьёв вдруг неожиданно для себя разглядел в глазах старого генерала жалость и сочувствие. Беннигсен из седла наклонился к своему офицеру.

- Господин генерал, прикажите вынести меня... – проговорил Муравьёв.

Беннигсен огляделся по сторонам и махнул рукой стоявшим рядом солдатам. Четверо из них подошли, положили Муравьёва на шинель и понесли его. Муравьёв в этот момент мало что видел и уже мало что понимал. Он только знал, что в этих солдатах его спасение и решил дать им свой последний золотой, чтобы они не бросили его где-нибудь, а все-таки донесли до Татарок – там и лазарет, там и оwin, куда вечером наверняка вернутся братья.

Однако едва они вышли из огня, солдаты положили его на землю и собрались уходить. Муравьёв достал свой золотой и проговорил: «Братцы, не оставляйте меня»... Солдаты мрачно смотрели на него. За то время, пока они находились под огнём, поначалу они одурели от постоянного страха смерти, на подавление которого приходилось отыскивать всё больше сил. Потом все чувства – страх, желание жить, - притупились, и сейчас даже сочувствия к этому мальчику не было: умрёт одним больше – ну и что? Даже золото не действовало на них. Им тоже хотелось, чтобы всё поскорее кончилось. Без слов трое пошли прочь. Муравьёв видел, как они бросили ружья и понял, что этим уже всё равно - не все могли заставить себя снова вернуться в пекло. Один из солдат взял червонец и всё же остался.

- Сейчас, барин... - сказал он и куда-то ушёл. Муравьёв, приподнявшись на локтях, смотрел на поле боя. Его поразило, что над правым флангом сияло солнце, в то время как центр и левый фланг были накрыты черными тучами порохового дыма, и там было темно, как ночью, разве что в центре горело Бородино. Эта картина казалась Муравьёву именно картиной, будто он не лежал сейчас в самом её центре с разбитой ногой, а смотрел на всё это в зале галереи.

Тут пришёл солдат, тащивший на себе крестьянскую телегу. Он кое-как поднял на неё Муравьёва и повёз, впрягшись в оглобли. Добравшись до Новой Смоленской дороги, солдат без слов ушёл, оставив в телеге и своё ружьё. Михаил с трудом приподнялся. Мимо шли люди. Лица у них были усталые и потерянные. Они вряд ли знали, куда именно идут – лишь бы подальше от мясорубки. (Именно эту картину видел издали просивший у Наполеона гвардию генерал Бельяр). Михаил пытался просить о помощи, но река людского отчаяния текла мимо. Вдруг Муравьёв увидел в толпе едущую коляску и в ней человека в фартуке, ещё утром, видимо, белом, а теперь пропитанном кровью. Муравьёв понял, что это один из врачей.

- Помогите! Помогите! Ради Христа! – закричал он, приподнимаясь. Лекарь то ли услышал, то ли увидел его, он смотрел на Муравьёва, но будто мимо.

- Я адъютант генерала Беннигсена! – прохрипел Муравьёв, и эти слова, сказанные им неизвестно для чего, вдруг подействовали – что-то проснулось в лекаре и он велел кучеру остановиться.

- Что у вас? – спросил лекарь, подойдя и заглянув внутрь телеги. Муравьёв пытливо смотрел на его лицо, пытаясь прочитать на нём свой приговор. Лекарь поморщился, вынул из кармана какую-то тряпку и перемотал ею рану Муравьёва. После этого лекарь, не сказав больше ничего, ушёл. Михаил из последних сил удерживался на бортике телеги, надеясь, что или он заметит знакомых, или они – его. Вместе этого его голову заприметил какой-то поручик.

- Вы только представьте, наш полк отбил сегодня три атаки французской кавалерии! – заговорил он, подходя в Муравьёву. Муравьёв почувствовал запах вина и понял, что поручик пьян. – Как они шли на нас! И как потом улепётывали!

Поручик с размаху сел на телегу, придавив Михаилу раненую ногу. Михаил взвыл, но поручик не обратил на это внимания.

- Что вы делаете! – проговорил Муравьёв сквозь стиснутые зубы.

- А что ж! – отвечал поручик, не понимая вопроса. – Я такое же право имею на эту телегу, что и вы! Да вот – выпейте за здоровье моего полка! Или за упокой – уж не знаю, сколько там нас осталось!

Тут поручик хмельно заплакал. Муравьёв, которому было уже всё равно, отпил из предложенной бутылки и от раны, от усталости, от голода, мгновенно захмелел. Как в тумане он слышал какие-то рассказы поручика. Как в тумане видел, что поручик, разглядев, наконец, что его собеседник ранен, вдруг вскочил, начал шархаться по дороге, потом остановил телегу с ранеными и заставил привязать к ней оглобли муравьёвской телеги. Составив этот поезд, поручик посчитал свой долг человеколюбия выполненным и махал Муравьёву вслед рукой с бутылкой.

Через какое-то время Муравьёв увидел знакомых ему людей, но от слабости и опьянения не смог ни окликнуть их, ни попросить, чтобы его телегу отвязали. Так он приехал



в Можайск. Там его вытащили из телеги и положили на дороге, как тысячи других раненых. По дороге то и дело ездил артиллерия и другие повозки, и Михаил, иногда приходя в себя, думал, что надо бы отодвинуться, иначе задавят - и не отодвигался. Вечером какой-то ополченец, разглядев его юное лицо, пожалел Муравьёва, затащил в какую-то избу и подложил ему под голову пучок соломы. В избу то и дело кто-то заглядывал, но стоило Михаилу подать голос и попросить помощи, так человек сразу исчезал. Михаил понял, что уже скоро в эту избу придёт за ним смерть. «Да всё равно... - подумал он. - Всё равно». Мрачное торжество наполнило его - он умирает в бою. «Об этом и мечтали»... - вдруг подумал он, хотя и понимал, что в мечтах смерть была наряднее - не в грязной избе, не на полу среди тараканов.

Спасло Михаила одно из тех чудес, которые часто бывают на войне: одним из тех, кто заглянул в его избу, был знакомый человек, урядник лейб-казацкого полка Андрианов. Он накормил Муравьёва и по его просьбе написал на дверях избы «Михайла Муравьёв» - так Михайла надеялся дать знать о себе другим знакомым. Расчёт не подвёл: один из товарищей его брата Александра увидел надпись, отыскал подводу и отправил Михаила в Москву. Трясаясь в телеге посреди широкой обозной реки, Муравьёв все вглядывался в лица, и вдруг увидел среди них знакомое.

- Хомутов! Хомутов! - захрипел он. Подпоручик Хомутов подъехал, будто не узнавая Михаила.

- Хомутов, это я, Михайла Муравьёв! - проговорил Михаил, во все глаза глядя на Хомутова, который, казалось Михаилу, был не в себе. - Скажи братьям, что я живой. Меня везут в Москву. Скажешь?!

- Скажу, - вроде бы ясно и осмысленно ответил Хомутов. - А что с тобой?

- Ранен, как видишь, - ответил Михаил, облегчённо падая на дно телеги. Он думал, что теперь всё будет хорошо. Но его лицо и вид его изувеченной ноги почти сразу потерялись в памяти Хомутова среди тысяч других страшных картинок, виденных им за эти два дня. Только 28-го августа, встретив Александра Муравьёва, Хомутов вдруг вспомнил, что у него к нему есть дело.

- А ведь я видел вашего брата, он живой, его везли в Москву... - проговорил Хомутов. Александр, который все эти дни вместе с Николаем искал младшего брата сначала на

Бородинском поле, а потом – в обозах отступавшей армии, по крестьянским избам, на дороге в Можайске среди раздавленных телегами и пушками раненых, в стогах, где раненые пытались согреться и умирали, ослабев, от ночного холода, а то и сгорали, не в силах выбраться, видевший за эти дни смерть в самых разных и страшных её видах, смотрел на Хомутова и молчал. Он не знал, что говорить, не понимал, как Хомутов, виденный им за эти дни несколько раз, мог забыть *такое*, и одновременно понимал прекрасно – сколько всего и он сам забыл из того, что, казалось, не забудется никогда.

- Хомутов, если вы ещё раз увидите где Михайлу, отрежьте себе что-нибудь, вот хоть палец – тогда-то вы вряд ли забудете мне о нём рассказать! – в сердцах сказал Александр.

- Бросьте, Муравьёв, я так устал, что даже если мне отрежут все пальцы, я всё равно не вспомню, по какому это было поводу... - усмехнулся Хомутов. – Не гневайтесь. Главное, что он жив и на Бородинском поле кавалерией, как другие, не затоптан. Уверен, вы его найдёте...

- Непременно найдём... - отвечал Александр, чувствуя, как ему впервые за эти дни становится легче. Он даже улыбнулся. – Если из такой битвы спас его Господь, так не для того же, чтобы он умер на дороге. Ведь так, Хомутов?

Хомутов, хотя и были у него на этот счёт свои мысли, кивнул. Если людям хочется верить в чудо, не надо им мешать...



## Глава восемнадцатая

Висленский легион к концу сражения оказался напротив Горок. Весь день легион маршировал по полю из стороны в сторону, оставаясь наблюдателем и теряя людей только от случайно залетавших в ряды ядер. В девять утра легион вышел от Шевардинского редута вперёд, прошёл около километра и встал. Приехавший командир дивизии генерал Клапаред сказал легиону несколько слов для воодушевления. Брандт и Гордон решили было, что бой уже близок, но время шло, а легион так и оставался на месте. Потом разнёсся слух, что вместо легиона в огонь брошена дивизия Фриана.

В десять легион перевели на новое место, откуда видна была колокольня в селе Бородино, и откуда поляки потом видели русскую конницу – это были Уваров и Платов. После полудня поляки снова вышли на поле боя и встали недалеко от Семёновского оврага, через какое-то время услышав (но не увидев), кавалерийскую атаку Коленкура и Латур-Мобура. После этого легион вступил на Большой редут. Поляки, привычные ко многому, пробирались через эти места, в ужасе оглядываясь по сторонам.

– Вы видели такое когда-нибудь, Брандт? – спросил Гордон, указывая на холмы из мёртвых людей, громоздящиеся у подножия кургана. Из куч торчали ноги, руки, на некоторых головах ещё блестели живые глаза, и кто-то внутри этого скопища тел стонал.

– Признаюсь, я первый раз в таком аду... – ответил Брандт. – Что же это? Получается, они шли в атаку уже по телам, по мёртвым и живым?

Оба замолчали: мимо на белом, в кровавых пятнах, плаще несли Коленкура.

Среди лежащих они увидели вдруг польские мундиры и бросились вытаскивать своих товарищей. Немногие из них были в живых.

На этом месте легион попал под обстрел в первый раз за день. Русские обстреливали своё бывшее укрепление с невероятной энергией. Потери в легионе были таковы, что солдатам разрешено было лечь, офицеры же остались стоять.

– Будем ждать смерти стоя! – сказал подошедший в это время к Брандту и Гордону капитан Рехович. Не успел Брандт как-то ответить на эти слова, как русским ядром сорвало голову поднышавшему с места гренадеру. Всех вокруг забрызгало кровью и мозгом (как ни чистил потом Брандт свой мундир, эти пятна всё равно проступали и были особенно заметны, когда мундир покрывался пылью, особенно пятно от брызнувшего мозга. «Мemento мори» – думал Брандт и не любил объяснять, откуда у него на мундире эти пятна).

Так Висленский легион простоял до сумерек. Когда русские выдвинулись вперёд и заняли Горицкий овраг позади Большого редута, легиону было приказано вытеснить русских из оврага. Поляки бросились вперёд и за полчаса очистили овраг от неприятеля. Это было единственное участие гвардии Наполеона в Бородинском бою.

Стрельба со всех сторон затихала. По всему выходило, что ночевать придётся здесь – посреди обломков и трупов. Однако полякам было не привыкать: вместо дров использовали обломки русских ружейных прикладов. Разували мертвецов (это было дело обычное, разували ещё в ходе битвы, часто даже не дожидались, когда несчастный умрёт, к утру следующего дня почти всех мертвецов на поле не только разули, но многих и раздели), из русских ранцев добыли сухари, а главное – водку, которой все были рады так, будто ради неё и совершалась вся эта битва, всё это убийство тысяч людей.

Едва разожгли костры, к ним со всех сторон поползли раненные. Брандт потом всю жизнь помнил эту картину: тянущиеся к огню люди, изувеченные, грязные, не могущие говорить. Они лезли к теплу из последних сил, многие, добравшись до костров, почти сразу умирали и огонь отражался в их остекленевших глазах.

В десять вечера Брандт обошёл посты. Потом спустилась ночь и наступила мёртвая тишина...



## Глава девятнадцатая

Наполеон совершенно не спал ночь после битвы. Накануне он с ужасом думал о том, что будет, если русские уйдут с поля битвы. Теперь же он с ужасом думал, как быть, если они остались? Если сейчас, утром, придётся начинать новую битву? Вчерашнее сражение совершенно опустошило его. «Что со мной? – спрашивал он себя. – Неужели это я?».

Вчера вечером он избегал взглядов. Генералы смотрели на него так, как не смотрели никогда – они тоже не узнавали его. Наполеон вспомнил вечер битвы при Эсслинге в 1809 году: его армия начала переправу, но когда больше 70 тысяч человек были уже на австрийском берегу, Дунай перешёл на сторону австрийцев: вода поднялась, снесло переправы, австрийцы расстреляли французов картечью, и он ничем не мог помочь своим солдатам. Но даже тогда ему было легче. Ненависть питала его. Сейчас не было ничего – ни ненависти, ни злости, ни обычного для него насмешливого отношения к превратностям судьбы.

«Что со мной? – подумал Наполеон. – Что было вчера? Надо было идти вперёд, проламывать русскую оборону –

почему я не сделал этого, почему не дал сделать Нею или Мюрату? Кутузову нужна была битва, чтобы встряхнуть своих солдат, но мне-то нужно было разгромить его армию, а я не разгромил. Дойдём мы до Москвы и даже займём её – что толку, если у русских ещё будет армия? В 1809 году австрийцы сдали свою столицу и продолжали воевать, испанцы сдали Мадрид, но не сдались сами. В 1807 году французы были в Берлине, а пруссаки всё воевали».

Он почувствовал страшную тоску – вчера у него был шанс стать повелителем мира, а он его упустил. Ему хотелось вернуть вчерашний день – как бы хорошо он всё сделал, перевоевал. «Может, всё это сон? – подумал Наполеон, где-то в душе надеясь, что вот сейчас он проснётся, а битвы ещё не было. – Нет, не сон. Всё было». И теперь с этим надо было жить.

Он отбросил одеяло и начал вставать. Тело болело сразу в нескольких местах. Он хотел позвать Констан, но не смог издать никакого звука – даже то, что получалось вчера, не получалось сегодня.

Констан, однако, услышав шум в «спальне» императора, прибежал сам.

– Доброе утро, сир! – проговорил он, сияя. – Русские ушли ночью, сир, они бежали! Вы победили, сир!

Наполеон попытался что-то сказать, и у него опять не вышло. Констан смотрел на него круглыми глазами. Наполеон, разозлившись, махнул рукой в сторону «кабинета». Констан, поняв, бросился туда и принёс карандаш и клочок бумаги, на котором Наполеон с трудом – отвык писать сам – вывел: «Конечно победил. А разве ты сомневался во мне?»..

Констан с облегчением вздохнул – вчера вид императора основательно напугал его, особенно вечером, когда Наполеон выглядел так, будто разгромлен он, а не русские. Но сегодня похоже было, что император пришёл в себя. Наполеон улыбнулся. Констан выпорхнул, чтобы сделать императору горячее питьё.

Оставшись один, император сжал руками колени и конвульсивная дрожь пронзила его – один раз, другой, третий, словно в него попадали пули.

– Москва... Москва... – промышчал он и, обхватив руками голову, начал качаться из стороны в сторону. Констан, заставший его так минуту спустя, почувствовал, как шевелятся волосы на голове...





## Заключение



142

Осенью, после ухода французов из Москвы, едва стало возможно добраться до Бородинского поля, сюда приехала Маргарита Тучкова, жена генерала Александра Алексеевича Тучкова 4-го, командира бригады в 3-м корпусе. Был ей тогда 31 год.

В 16 лет Маргарита вышла замуж, но муж оказался таков, что даже в те времена ей разрешён был развод, и специальным царским решением постановлено было снова считать её «девицей Нарышкиной». Александра Тучкова она узнала ещё в пору своего неудачного замужества. Проскочила между ними электрическая искра, но родители Маргариты не верили уже в электричество любви и упирались до последнего – только в 1806 году разрешили они этот брак. Во время свадьбы было такое: на второй день её вдруг навстречу молодой жене выбежал юродивый и прокричал: «Мария, Мария, возьми посох!». Это происшествие смутило души, но смысл его то ли никто не понял, то ли побоялись понять.

Став Тучковой, Маргарита отправлялась со своим мужем в военные походы – была, например, на войне со Швецией в 1808 году, жила в палатке, переправлялась через ледяные реки. Для конспирации переодели её казаком

(так поступали многие генералы). А в 1811 году родился у Тучковых сын.

Тучков 4-й в день сражения находился на русском левом фланге (находясь в 3-й дивизии Коновницына, он вместе с ней в начале сражения был отправлен Тучковым 1-м на подкрепление Багратиона). Когда Ревельский полк из его бригады убоялся неприятельского огня, Тучков, по легенде, взял знамя и сказал: «Тогда я один пойду». Он шагнул в огонь, а следом, уже ничего не боясь, бросились его солдаты. Как и Кутайсова, Тучкова сразу после боя не нашли.

Из письма Коновницына Тучкова знала примерное место, где погиб её муж. На этом месте она искала его несколько дней. Каково это было, можно только попытаться себе представить: всё же после сражения холода, замедлившие бы гниение, наступили не сразу. Мертвецов раздевали живые, да к тому же их объедало зверьё. Не найдя тела, Тучкова попросила священника отслужить панихиду прямо на поле боя – над тем местом, где стоял Ревельский полк и где сделал свои последние шаги на этой земле её муж.

Уже после она решила построить и построила на этом месте церковь Спаса-на-крови, а ещё позже – монастырь. Их с Александром сын умер в 15 лет и был похоронен матерью в склепе Спасской церкви – поближе к отцу. В 1838 году она постриглась в монахини под именем Мелании, а в 1840 приняла новый, более серьёзный, постриг. После этого имя её стало Мария. На следующий день она стала игуменьей основанного ею Спасо-Бородинского монастыря. Так исполнилось пророчество юродивого – Мария приняла посох. Умерла она в 1852 году. Они встретились там, на небесах, Александр и Маргарита, и они счастливы там, как могут быть счастливы люди, не оставившие на земле грехов...

14.07.2011-24.07.2011

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая .....	3
Глава вторая .....	9
Глава третья .....	17
Глава четвертая .....	20
Глава пятая .....	23
Глава шестая .....	25
Глава седьмая .....	27
Глава восьмая .....	29
Глава девятая.....	33
Глава десятая.....	40

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая .....	44
Глава вторая .....	47
Глава третья .....	49
Глава четвертая .....	52
Глава пятая .....	54
Глава шестая .....	57
Глава седьмая .....	60
Глава восьмая .....	63

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая .....	72
Глава вторая .....	76
Глава третья .....	79
Глава четвертая .....	83
Глава пятая .....	86
Глава шестая .....	89
Глава седьмая .....	91
Глава восьмая .....	95
Глава девятая .....	102
Глава десятая .....	105
Глава одиннадцатая .....	108
Глава двенадцатая .....	113
Глава тринадцатая .....	117
Глава четырнадцатая .....	119
Глава пятнадцатая.....	127
Глава шестнадцатая .....	130
Глава семнадцатая.....	133
Глава восемнадцатая .....	138
Глава девятнадцатая.....	140

<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>142</b>
-------------------------	------------



**Сергей Александрович  
Тепляков**

**«БОРОДИНО»**

*Роман*

Оформление и верстка О.В. Васева.

Сдано в набор 04.08.2011 г. Подписано в печать 15.08.2011 г.  
Гарнитура Камбрия. Печать офсетная.  
Бумага офсетная. Формат 84х60 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. лист 9.  
Тираж 1000 экз. Заказ 3422.

---

Отпечатано в ОАО «ИПП «Алтай». г. Барнаул, ул. Короленко, 105.